

Владимир
МАКАНИН

Лауреат премии «Большая книга – 2008»



На первом дыхании

Владимир Семенович Маканин

На первом дыхании (сборник)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3088635

Владимир Маканин. *На первом дыхании: сборник*: Эксмо; Москва; 2009

ISBN 978-5-699-35666-9

Аннотация

В новый сборник признанного мастера русской прозы Владимира Маканина «На первом дыхании» вошли рассказы и повести: «На первом дыхании», «Повесть о старом поселке», «Валечка Чекина», «Старые книги», «Погоня».

Два центральных героя этих повестей и рассказов – Ключарев и Светик – очень разные. Он – инженер в НИИ, она – фарцовщик и спекулянт. Но сама жизнь крутит и вертит обоих в водовороте встреч и расставаний, заставляет каждый день отвечать на вопрос: «А зачем я, собственно, живу?», и мириться с собственной нищетой – материальной и духовной. Владимир Маканин умеет так рассказать о повседневности, что она расцветивается всеми цветами переживаний: от сумрачных до самых ярких.

Отдельное удовольствие получают те читатели, которые помнят, с каким трудом в советское время доставались мировые бестселлеры вроде «Анжелики», сапоги, капроновые колготы и торт «Прага»: Маканин описывает ушедшую эпоху во всей

полноте и точности, как будто ты путешествуешь на машине времени и видишь все своими глазами!

Содержание

На первом дыхании	5
Глава 1	5
Глава 2	18
Глава 3	34
Глава 4	47
Глава 5	62
Глава 6	81
Глава 7	95
Глава 8	107
Глава 9	120
Глава 10	136
Глава 11	155
Глава 12	171
Повесть о старом поселке	176
Глава 1	176
Конец ознакомительного фрагмента.	181

Владимир Маканин

На первом дыхании (сборник)

На первом дыхании

Глава 1

Если брать эпиграф, я наверняка знал бы, что очень в данном случае подходит и очень мне нравится: КОГДА ЛЕГКО-ВЕРЕН И МОЛОД Я БЫЛ. Вот именно. Эта строка.

Легковерен. Такое вот удивляющее слово – и чем дольше в него вдумываешься, тем на душе лучше.

*** * ***

Вокруг была степь. Полынь, и цвет этой полыни если не совсем белый, то белесый. А посередке этой сплошной белесости, как в молоке, плавало десятка полтора крохотных наших домишек. Полтора десятка домишек – не больше. И вот там я работал.

Мне было двадцать пять, и ни цыкать, ни шуметь на меня

было нельзя; противопоказано. И потому, едва лишь Громышев начал шуметь, стало ясно, что я сбегу – именно сегодня сбегу.

– А ну не ори на меня!

Я мог бы, конечно, сказать Громышеву: «Не орите». Все-таки начальник.

– Не ори на меня!

– Никуда ты не уедешь, – отчеканил Громышев.

– Да ну?

– Не уедешь!

Так и сказал. Это ж было просто смешно. Потеха.

– Да ну? – Я засмеялся. – Не уеду?.. Буду в романтику играть? А невеста моя в романтике плохо разбирается – взяла и замуж выскочила.

– Я тут ни при чем.

– Вы мне пели о трудной судьбе, а она в это время замуж выскочила.

– Я тут ни при чем.

– Неужели? А я-то думал, подстроили.

Я уже вышел из себя: я вцепился ему в пиджак и стал трясти, но Громышев раза в два тяжелее меня, как-никак начальник, поэтому с него только пуговицы сыпались. И какие-то карандаши из карманов. Картинка, должно быть, была что надо.

– Не уеду? – тряс и спрашивал его я. – Не уеду? – И опять тряс. Туда-сюда. – Не уеду?

Примчались Коляка Жилкин и еще один – тоже из наших, тоже свой. Втроем они справились – зашвырнули меня в наше угловое помещение. И Громышев, весь бурый и без единой пуговицы на пиджаке, подытожил – сказал, что я буду сидеть тут взаперти, пока не остыну и не смирюсь. Смирюсь, он именно так и сказал. Опять он выбрал не те слова.

Глаза мои привыкали. В общем, большая честь. Угловое помещение, в котором меня заперли, было не какой-то там конурой, а состояло из двух комнат. И еще туалет. Можно было даже гордиться: это был отдел, где хранились наиболее ценные детали и приборы. Ну и всякие документы. Что-то вроде архива. А на окнах были решетки.

* * *

И вот я стоял у заблокированных окон с решетками. И смотрел. Что было делать?.. Чад погорелого места тянул даже сюда, в закрытое помещение. Проникал, видимо, в щели. День назад случился пожар, и я понимал, что Громышев нервничает.

Я смотрел. Люди там медленно и тихо копошились – растаскивали крестовины. Они стояли по пояс в курящихся голубых дымках. А я этот сладковатый степной дымок вдыхал через щели. Остатки сладки. Пожар, слава богу, вчера начался, вчера и кончился. Грузовая тянула сохранившуюся распорку. Невесть какое, а добро. Машина гудела и тужилась,

и казалось, у нее тоже тряслись колени, как тряслись они у меня после всей этой стычки.

– Давай, Петюня, – кричали шоферу, – давай, милый!

Машина тянула задом. Буксовала и фыркала из-под колес землей вполовину с пеплом.

– Давай, милый. Давай еще!

Десять домишек и полсотни людей. И запертый я. И мечущийся возле машин Громышев. Вот и вся компания. Все мы (и наши домишки тоже) лежали на степной глади, как крошки хлеба на большой и ровной скатерти. Будто вот-вот их сгребут великанской ладонью, смахнут. А краями скатерти были еле видные далекие холмы. Такой пейзаж.

Я знал, что сбегу. И как бы прощался.

Я уже – там был, с ней, с Галькой. Клеймил. Изничтожал. Спрашивал, как и почему. Что-то выяснял.

Пытался перескочить пространство, а пространство все еще лежало передо мной – голая степь.

Сначала попутные. И пыль – она тучей заносилась на левую сторону дороги. Помню ночь и мелькнувшую белую церквушку. Церковь ли, мечеть ли? – мелькнула и пропала с неразличимой во тьме религией. А машина с грохотом, с боем бортов летела дальше. Или вдруг шла мягче. Это там, где отары раздолбали дорогу в пыль.

Потом машины свое сделали. Потом был поезд. Потом самолет.

Я мчался в Москву; я нигде и ничем не был привязан.

Житейская расстановка сил, конечно, была, но самая простенькая. Существовал (и уже как бы не существовал) родной городок – там я осилил школу. Там жила моя матушка. И мой отец. Я уехал оттуда в Москву, где проучился положенных пять лет в институте. А затем распределился в степи, к этому Громышеву. Напел он мне сладких песен. Заманил.

Я барабанил у него три года без двух месяцев. Причем барабанил честь честью. На совесть. Он прописал меня в городишке с симпатичным названием Кукуевск. Дыра невообразимая. Глухомань, как в былинах. Там была база Громышева, и оттуда мы делали свои наезды в степи. Набеги. Нет, мы не были геологами. Мы были строители.

Жить там было негде, прописаться тем более. Поэтому меня прописали у одной хитроумной вдовы. А она была прописана на складе. Она там жила. Спала, варила обед и так далее. Как подробность скажу, что я ей понравился с первого взгляда. Я вдруг очутился за уютным столиком и возле уютной постели, явно перепивший и ничего не соображающий – ее рук дело. Но бог спас.

Были где-то друзья. Были рассеянные по городам однокурсники. Ну и, само собой, была Галька. И Бученков Андрюха. Вот, собственно, и все координаты. Все мои связи. Во

времени и в пространстве.

...Помню еще одну картинку – и это тоже было прощанье со степью. До стычки с Громышевым. Я еще не крикнул ему: «Уеду – и кончено!» За час или за два до всего этого.

Я шагал ровной и плоской, как скатерть, степью и думал о письме. О письме, в котором Бученков сообщил мне про Гальку. А дымки, оставшиеся после пожара, еле-еле курились. Вот тебе и ковылек-ковылечек. Белая степная трава – она колыхалась совсем невинно. Мы, дескать, только кустики. Только белые кустики травы. Загорелись, но ведь нечаянно. Мы только белые кустики. Всплески живого на высохшей земле.

Слышался разговор. И рыкала машина. И крики: давай, давай!.. А когда крики стихали, монотонно скулил обгоревший Жулик, наш пес.

* * *

Москва встретила меня как родного – бабьим летом. Деревья в огне. Ворохи листьев – и асфальт сиреневый. Все как надо. Из метро я прямиком кинулся к Бученкову. К Андрею.
– Явился, – сказал я, – по твоему вызову.
– По какому вызову? – Он был растерян.

Шлепал ресницами, как персидская княжна. А в глубине, за поворотом на кухню, маячила его теща. Все, что полагается знать о тещах, я знал. Невелика мудрость. Был вечер,

этак часов десять.

– Что, так и будем стоять в прихожей? – Я не скрывал своих желаний.

Мы прошли на кухню. Уже хорошо. Чай как минимум – мелькнуло у меня в голове. Когда Бученков вышел умолять тещу, я сунул руку в их симпатичную хлебницу, отломил кус, мазнул его маслом и съел. Я не умел терпеть. Я проделал это без единого звука.

Бученков ее упросил и умолил – мне было разрешено за-ночевать. Он упрашивал ее очень тихо, очень вкрадчиво. Процедура длилась с полчаса. Под звуки их воркованья я еще раз не удержался и съел хлеба, опять с маслом. Бученков называл ее «мама» и обещал сделать ей что-то по хозяйству.

Он вернулся на кухню на цыпочках. Но с радостным известием.

– Можно. Ночуй, – сказал он шепотом.

– А сахар к чаю можно? – таким же шепотом спросил я.

Он покраснел. Он всегда стеснялся родни. Его теща была скупа, как Плюшкин.

Как оказалось, он все еще не нашел, где можно подра-ботать. За три-то года. Дополнительные полставки так и остались грезой. Логика жизни, неумолимая, придавила его. Чтоб отделиться от тещи, нужен кооператив. А для коопера-тива нужны деньги. А для денег нужны полставки. А чтоб найти полставки, нужен характер. А характера нет.

– Что делать, я слишком честен, – говорил Бученков уны-

ло. И это еще в студенчестве возмущало меня. Потому что получалось, что я подонок. И в ответ я называл его мямлей и остаточной жертвой крепостного права. У нас, говорил я, на Урале, крепостного права не было. У нас, говорил я, не складывалась из века рабская психология. И мы не передавали ее своим детям в генах, в то время как вам и сейчас еще лет сто надо, чтоб вы оправились. Вы, мол, все еще окрика боитесь, третьесортными себя же считая...

Сейчас мы об этом спорить не стали. Повзрослели. Да и тема для разговора была совсем иная.

Выдержав некоторую паузу, я приступил:

– Ну ладно. Рассказывай.

Бедняга пил чай без сахара. Потому что я пил стакан за стаканом.

– Ну, рассказывай.

– Что рассказывать, – вздохнул он. – Я тебе все написал в письме. Вышла замуж.

– Давно?

Он замялся.

– Ну?

– Уже с полгода. Месяцев семь. Я не мог тебе сразу написать. Как-то неловко было. Рука не подымалась...

Вот именно – рука не подымалась. Я не сомневался, что так оно и было. Он и правда искренне меня любил. Бедняга.

– Н-да, – сказал я.

– Плохо дело.

– Куда уж хуже.

Было двенадцать ночи. Мы шептались, и теперь шел черед деталей. Мелочей.

– Ты, возможно, помнишь его.

– Ее мужа?

– Да. Это Еремеев. На курс старше нас учился. В водное поло играл.

– Понятия не имею.

О Еремееве знать мне было неинтересно. Нет нужды. А о Гальке он больше ничего не знал – вышла замуж, вот и все.

Я вдруг сказал Бученкову: идем подышим. Мне было невмоготу. Нехорошо было. Я уже не мог сидеть здесь и шептаться.

– Поздно уже. – Он не хотел идти на улицу, точнее, не смел.

Он потерянно глядел на расставленную для меня раскладушку. По их понятиям, я уже должен был ложиться. Меня пустили ночевать с условием, что завтра в шесть утра ни этой раскладушки, ни меня, ни моего духа здесь не будет. С утра на кухне нужно жарить печенку. И гренки.

Но я уже сорвался с места – я начал возиться с чемоданом. Чемодан у меня мятый и битый, закрывается безобразно. С трудом. Зато раскрывается легче легкого.

– Ты куда? – спросил Бученков. – Олег, ты куда?

– «Куда, куда», – передразнил я. – Конечно, к ней. Надо попытаться. Небось не выгонит, если я с чемоданом.

Бученков промолчал. Бедняга. У тещи бессонница – она приняла люминал или иное снотворное, она еле заснула, а ведь я, уходя, так или иначе бацну дверью. И еще он боялся за меня. Это точно. Это тоже в нем сейчас было – боязнь за меня. Как бы я чего не натворил у Гальки. Смешанное чувство.

– Пока.

Он не шелохнулся.

– Пока, говорю.

И я загремел по ступенькам. Выскочил на улицу. Ее адрес я уже знал. То есть адрес этого Еремеева. Не так уж далеко.

Дом я отыскал. Была ночь. Троллейбусы еще ходили. Живет моя отрада в высоком терему.

Мне открыл он. Еремеев. Да, я его видел, – кажется, видел. Смазливая морда. Я таких не запоминаю.

– А где Галька? – Я вошел, я бросил чемодан в угол.

Еремеев был крепок. Бычок. Ну ясно, в водное поло играл.

– Галя!

Он позвал ее, ласково так окликнул – он стоял в сине-белом халате, добротном, теплом, ГДР, двадцать рублей. Так-так. Знакомый халатик. А вот и Галька.

– Олег!

Олег – это я. Мы поцеловались. Но от этого не стало лучше, пожалуй, наоборот. Теперь мы стояли в растерянности – все трое. Помаленьку приходили в себя. Я ждал, что же бу-

дет. Но пока Еремеев только закурил.

– Вы что, собираетесь меня выставить на ночь глядя? – спросил я.

Я шутливо спросил, в стиле оперетки, но здесь этот номер не прошел.

– Нельзя тебе у нас ночевать, – тяжелым баском сказал Еремеев.

Ну, разумеется, нельзя, само собой. Узнал меня. По фотографиям, что ли. И сейчас меня выставят на улицу. Его право – быть начеку, беречь семейный очаг. И тут уж ничего не попишешь. Я его даже зауважал. Я на его месте, может быть, растерялся бы, пустил бы и на раскладушке бы устроил – а после всю ночь мучился. И сбросил бы его, сонного, с балкона.

– Ладно. Тогда я уезжаю обратно. В степи. Прощай, Галя.

И я (какое-то легкое помрачение) опять потянулся к ней. И даже удалось ее поцеловать. Два раза и еще раз. Как бы на прощанье.

– Хватит, – говорил он, стоя сбоку. – Сказано же. Хватит.

Я ушел. Должно быть, я только и хотел – их посмотреть. Ее.

Я спускался, прихватив свой чемоданчик, а Еремеев стоял на лестничной клетке, смотрел мне вслед. Стоял в сине-белом халате. Когда-то Галька о таком халате прожужжала мне уши. Она даже в магазин меня затащила однажды, чтоб я посмотрел. Мне было не по себе, еще не дорос, чтобы приме-

ривать халаты. Народу в магазине было полно. Галька разглядывала ценник, а я, между делом, кадрил продавщицу.

Я не о том, что Галька была малость мещаночкой. Я о другом. А мещаночкой, кстати, она не была.

* * *

Долго не открывали. Как-никак ночь. Я даже подумал, не перебрала ли его теща люминалу. В связи с моим приездом. То-то бы я удружил Бученкову.

Но нет – открыли. Открыла теща.

– Вас, я вижу, совершенно замучили дела.

Это она, конечно, упражнялась в иронии. Оттачивала стиль.

– Все Андрей, – сказал я, перекладывая тяжесть на плечи друга. – Это ведь он меня из кукуевских степей вызвал. От работы оторвал. От хорошей, между прочим, работы.

Бученков, должно быть, не спал и прислушивался. Лежал в постели ни жив ни мертв. Завтра с него будут снимать большую стружку. Бедняга. А тут еще с грохотом раскрылся мой чемодан. Сам собой. Он у меня с причудами.

– О господи, – сказала теща.

Через десять минут Бученков прокрался ко мне на кухню на цыпочках. В доме это был, видимо, его излюбленный способ передвижения. Я уже лег – лежал на раскладушке. Свет был погашен.

– Ну что?

– Глаза слипаются, – сказал я. – Завтра поговорим.

– Олег... Ну что Галька?

Он сел на край раскладушки.

– Галька как Галька, – сказал я, потому что сказать было нечего.

Бученков закурил. На кухне ему это разрешалось. Потому что теща тоже этим делом баловалась.

– Ты опять уедешь? – спросил он.

– В степи?.. Черта с два. Мы еще повоюем.

И тут он начал вздыхать:

– Теперь уже поздно, Олег. (Вздох.) Что же теперь делать, если жизнь так повернулась. (Вздох.) Он ведь уже с ней спал. (Вздох.)

– Подумаешь, событие, – сказал я.

– Не событие?

– Может, еще и не спал. Полгода не такой уж большой срок. Может, ему недосуг.

– Все шутишь. (Вздох.)

– А ты не дергай меня!

– Тише...

Вот так мы и говорили, и я стоял на своем. Я не строю из себя гиацинт. Ясное дело, гадостно, что этот Еремеев с ней спал. Но ведь никак не переиграть. Необратимое явление. И к тому же меня часто уверяли, что, если женщину любишь, не это главное.

Глава 2

С утра я хотел было кинуться в этот самый текстильный НИИ, но здесь были двенадцатиэтажные дома, а не кукуевские степи. И было ясно, что начальника раньше, чем в обед, не увидишь. А чем заняться до обеда?

Тем более что меня выдернули из теплой раскладушки в шесть. То есть ровно в шесть. Если тебя поднимают и запирают за тобой дверь в такую рань, есть два замечательных места, чтобы околачиваться. Курский вокзал и Центральная библиотека. Предпочтительнее библиотека – ее я и выбрал. Там можно было встретить кой-кого из знакомых. Пообщаться и поговорить. И глядишь – совместно с ними (у них!) решить проблему ночлега.

Но мне не повезло. Я лишь почитал, посидел в тепле и выпил кофе. Впрочем, вскоре попался какой-то возбужденный малый. Сказал, что меня хорошо знает. Но тут же исчез.

– Выпьем лимонаду? – сказал он.

– Чего?

– Лимонаду.

Он сказал это очень торжественно и через минуту исчез. Я думал, он в буфете – там его не оказалось. А жаль. Он мог оказаться студентом. И провести меня в свою общагу, а там и ночлег.

В одиннадцать ноль-ноль я уже был в текстильном НИИ.

Час я базарил в отделе кадров – в конце концов я им поклялся, что сумею временно прописаться у родичей. У таких-то. Такой-то адрес. Это были родичи, с которыми родственных связей мы не поддерживали. Я о них еле вспомнил.

Девчонка-кадровичка не верила. Она раскопала их телефон и позвонила им. А они даже не удивились. Сказали:

– Разумеется, мы его пропишем.

И еще сказали:

– А где Олег? Нельзя ли поговорить с ним?

Я замахал руками: нет, нельзя, скажи, что меня нет рядом. Я вдруг вспомнил черточку этих моих родичей. Они любили быть добрыми.

Кадровичка подытожила:

– Теперь идите к начальнику лаборатории. – И улыбнулась: – Теперь все в порядке. Теперь только от начальника и зависит.

Я уже взмок от разговоров, а еще пришлось носиться за начальником с этажа на этаж – искать. О лаборатории я за это время узнал вот что. Кое-какой наукой они, конечно, занимались, но, в общем, существовали благодаря побочным изделиям. Плетеные галстучки. Авоськи. Расшитые пояса для морских офицеров. И тому подобное. Что-то вроде подпольной фабрики вблизи Мцхеты. Но только все законно. На хозрасчете.

– Здравствуйте. Садитесь.

И когда я сел, он спросил в лоб:

– Ну и кто вы есть?

Начлабу было лет под сорок, матерый. Страшно важничал. Хрен лысый. Поглядывал с прищуром и расспрашивал. Но вся его спокойная и уравновешенная жизнь длилась до поры до времени, пока он не спросил, что же меня привело именно в эту лабораторию.

– Ваше имя, – сказал я. – Ваше научное имя.

Он слегка покраснел и улыбнулся этак насмешливо. Дескать, не проведешь. Он даже постучал карандашиком по столу. Сделал недоверчивую паузу. И тем не менее, клянусь, он поверил.

– Из Кукуевска?.. Я что-то такого города не знаю.

– Крохотный городишко. Бараки.

– И там слышали о моих работах?

– Конечно!

Он покачал головой, он сомневался. И чем больше он сомневался, тем больше он верил. Это было ясней ясного. Вздумал меня расспрашивать. Хрен лысый.

– Я хотел бы сегодня же приступить к работе.

– Сегодня же? – У него глаза полезли на лысину.

Он решил, что впервые в жизни наскочил на молодого творца, начитавшегося журнала «Юность».

Он сказал, что надо ждать приказа о зачислении.

– Но я хотя бы ознакомлюсь с работой, – настаивал я.

И тут ему стало совестно. Всем нам хоть однажды в жизни бывает совестно оттого, что мы не творцы-фанатики. Не

гении. Он уже понял, что я беззаветно предан науке. И что хочу сгореть. И теперь ему стало чуточку совестно, потому что я мог разочароваться в его лаборатории.

– Видите ли, Олег Нестерович (это я), мы занимаемся не только наукой. Есть, кроме науки, всякие промышленные нужды (это авоськи!)...

Я кивнул: понятно.

– Я хочу, Олег Нестерович, чтоб вы через месяц не заявили мне, что вам у нас скучно. Что здесь не жизнь, а тоска зеленая.

И я ему опять головой. Как лошадь. Понятно. Понятно. Понятно. Понятно.

* * *

Лаборатория представляла собой длинную комнату. Получех. С совершенно белой торцовой стеной, как в кино-театре. Там не было ни окна, ни крючка, ни гвоздя – нечто абсолютное в своей белизне. Даже глаза резало.

Сидели там две старухи в очках и вязали на спицах. Младшие научные сотрудники. Так они представились, когда я сказал, что прибыл работать.

– А где народ?

– Обедают.

– А что, мамыши, не попьем ли и мы чайку? – И я стал оглядываться в поисках чайника. Он непременно должен

был находиться где-то рядом. Закипать и булькать носиком. Но оказалось, что я ошибся. Отстал от времени. Чай здесь разносили на подносе – в стаканах с подстаканниками. Фирма.

Я стал рассматривать на столах схемы вязальных станков. Не то чтоб я очень увлекся. Но я увидел намеченный кем-то перемонтаж, а я в таких случаях обожаю переделывать наново. Люблю ломать.

И вот я пробовал набросать новую схему. Я, конечно, видел, как вошла Галька. Ах ты гадость какая. Уже замужняя женщина. Такие корабли.

– Олег? – Она удивилась, а я держался спокойно.

– Чему ты удивляешься? – Я рассматривал станок.

Мы говорили негромко.

– Я за тобой, – начал я. И объяснил, что хочу, чтоб она собралась и уехала со мной. Да, в степи. Дня три на сборы. Ее замужество в степях никого не заинтересует и не взволнует. Чистая формальность. У нас там свои законы.

– Да ты просто с ума сошел!.. Уходи.

– И не подумаю.

– Я сейчас же позвоню мужу. Или скажу начлабу. Убирайся к чертям. Видеть тебя не могу. – Галька умела быть грубой.

Но все это было полушепотом. И две старухи поодаль непотревоженно и спокойно вязали из лавсана. Проводили микроэксперимент. И были похожи на этих – как же их? –

богинь судьбы.

А это уже было не шепотом. Вошел лысый начлаб. И с ним другие, вернувшиеся с обеда. Начлаб громко и звучно представил меня:

– ...Наш новый сотрудник. Молодой, но, как мне кажется, обещающий.

У Гальки отнялась речь. Это хорошо. Пусть знает, что это как судьба. Неумолимо. Как рок. Остальные приняли меня замечательно. Некоторые улыбались и подмаргивали: дескать, свой будешь. Все они были на фоне той ослепительно белой стены. А когда они пошли к своим столам и стали рассаживаться, мне почудилось, что сейчас станет темно. И на стене начнется показ фильма. Осталось от детства.

Не было только места.

– Мы организуем, – сказали они. – Подожди, друг, сейчас организуем: у тебя будет свой стол.

Они нашли в коридоре института какой-то гроб и еле его доволокли. Громадина застряла в дверях, ни назад ни вперед. Пропихивала и втаскивала его вся лаборатория – все они очень оживились.

Я не в свое дело не лез. Я взял стул, придвинул его к Галькиному столу и сел от нее сбоку. Сдул пыль, выложил локти на стол и склонился над каким-то ее чертежиком. Предварительно, разумеется, спросил разрешения:

– Можно полюбопытствовать?

Она шепнула: «Молчи. Ненавижу тебя», – а я тихо-тихо

ей: «Я еле дышу». Это были наши с ней слова, что-то вроде позывных. Только мои и Галькины. Она их хорошо знала. Означали они – люблю тебя, люблю, люблю, не могу жить без тебя, ничего не могу и так далее.

* * *

До конца рабочего дня я для видимости ковырялся в вязальном станке. В чертеже то есть. Я весь горел, я не знал, останется ли Галька здесь хоть на минуту, когда все разойдутся.

Она осталась.

– Не ушла я только потому, что боюсь. Как бы ты еще какой-нибудь идиотский номер не выкинул.

Я кивнул – спасибо за заботу.

– Ты же псих. Ты знаешь, что ты псих?

– Спасибо, – сказал я. Кроме нас, не было ни души. Мы и белая стена.

– Ну давай, – сказала она.

– Что «давай»?

– Говори... Ты ж поговорить со мной собирался. Давай.

Она была ужасная грубиянка, если этого хотела. Кончила институт, собирала библиотечку поэтов, а выражалась, как в Рыбинске при посадке на поезд.

– Давай. А то ведь меня дома ждут, – бросала она отрывисто и жестко. Но я-то ее знал. Я видел, что вот-вот и она

выдохнется. Еще и расплачется – как ни верти, а ведь винювата. И точно. Не прошло и получаса, как началась сцена – оба расклеились. Она плакала, я тоже был на подходе к скучной мужской слезе. «Что же теперь поделаешь, Олежек», – говорила она. «Как же ты могла так поступить?» – говорил я.

Плакать плакала, а уехать со мной в степи боялась. Женщина. Практицизм и реальность. Хранительница очага, пещера и звериные шкуры – ступай, муженек, говорят, к берегу пришло много рыбы.

– Перестань!..

Я уже совсем потерял голову. И к тому же стемнело. Но Галька вырвалась из моих рук. Не зажигая света, она кое-как навела порядок. Припудрилась. Осторожненько, чтоб опять не разлохматиться, поцеловала меня.

– Пока.

И цок-цок-цок каблучками. До чего ж дьявольская походка. Независимая. Хоть весь мир рухни. Такой я ее и любил.

* * *

Я остался один. Был выбор. Заночевать в этой авосечной лаборатории. Или же еще раз порадовать Бученкова и его тещу. Вот именно. Лечь на этом столе и спать, и чтоб в голову лезли всякие нехорошие сравнения.

Я лежал на спине, заложив руки за голову, – люблю эту позу. Темно и жутковато, даже уличная подсветка не чувству-

ется. И неясно, где я. В дороге? В кукуевских степях? Или просто в канаве? Однажды я замерз и спал в хлебе. Залез в зерно, в бург, – только нос наружу. Господи, неужели ж я в Москве? Уже в Москве? Подумать только!

Я вспомнил о родичах и почти кубарем скатился со стола. Телефон в двух шагах.

– Здравствуйте. Это я...

Оказывается, они ждали моего звонка.

– Олег! Наконец-то!.. Мы уж и не знали, что подумать. Нам позвонили из какого-то отдела кадров...

– Да.

– Тебе правда нужно у нас прописаться?

– Да.

– Но пойми, Олег, у нас такой принцип – мы прописываем только временно. Тебя это устроит?

– Да. (Мне не нужна была их прописка, ни временная, ни постоянная. Мне б только Гальку увезти. Но кто знает, сколько мне придется торчать в этом авосечном заведении.) Да... Спасибо... Вполне устроит.

– Тогда ты поторопись. Потому что мы собираемся в Польшу – да, надолго. Работа, Олег. Года на два...

Это были милейшие и добрейшие люди. А сын у них был балбес. Его иногда звали Сынулей, славное имя.

И уж очень они были обеспеченные (хотя и добрые), уж очень говорливые и ласковые, уж очень сытые (но добрые!). Оно, может быть, и неплохо. Быть такими. Быть говорливы-

ми и ласковыми. Но матушка моя твердила одно:

— Обращайся к ним, если уж совсем скверно. В самую последнюю очередь.

* * *

Ах, да. Я ведь должен был этим самым родичам кой-какой пустяк. Двадцать рублей. Еще со времен студенчества. Они, должно быть, уже и не надеялись, что я верну. Небось махнули рукой. Хотя кто его знает. Добрые и ласковые умеют долго ждать.

И ведь помнил про эти двадцать рублей. Память отличная. Но все собраться никак не мог. И ведь не первый раз эти штучки. Так и остались разбросанными по жизни долги столетней давности. Кому десять рублей, кому пятнадцать. Есть даже свежо хранящийся в памяти один рубль сорок копеек. То-то, должно быть, человек меня чихвостил. На возврат такой суммы нечего и рассчитывать. Бедолага. Я всегда ему сочувствовал. Так и хотелось сказать ему через расстояния и годы, что не в деньгах счастье.

* * *

Тем более что были и наоборот — те, что не возвращали мне. Через деньги мои мысли вдруг скакнули к еде — я по-

чувствовал, что голоден. Притом зверски голоден. И что же мне делать?

Я стал бродить по лаборатории, натываясь в темноте на столы и шкафы. Я подумал, не водится ли у лабораторских старух каких-нибудь сухариков. Я стал шарить.

Меня так прихватило, что даже руки тряслись. Но нет. В шкафах пустота. Не те старухи. Не та жизнь... Я бродил в совершеннейшей тьме, потому что боялся включить свет.

Я трижды курил, но не помогало. Внутри гудело и болезненно ныло. Я рискнул выйти в коридор – и сразу же белым пятном в глубине коридора: холодильник! – у меня даже сердце екнуло. В холодильнике стерильная чистота, какие-то пробирки. Но в углу – бутылка коньяка. И тонкостенный химстакан. То, что надо. Я налил и выпил. Долил бутылку водой. Еще выпил. И снова долил водой. Завтра кто-то будет говорить, что, сколько ни переплачивай, московский розлив – не ереванский.

Ах как мне теперь курилось! Я курил медленными и вкусными затяжками. А соблазн был велик. И тогда я решительными шагами отошел от холодильника прочь. Настоящая сила воли. Взять и не выпить – это ерунда. Упражнение для слабаков. Вот ты попробуй выпить и остановиться – и больше не пить. Я это смог.

Я увидел девушку. Симпатичную. Она выносила какой-то технический мусор.

– Что вы здесь делаете?

– Работаю. – И она улыбнулась.

– А как вас зовут?

– Катя.

– Вот это номер!

И я пошел за ней следом. Она действительно работала. В длинных трубках перегонялось какое-то бурое вещество. А Катя каждые сорок минут записывала температуру и давление на входе и выходе.

– Третьи сутки опыт идет. – Она была ужасно горда тем, что работает ночами. Творческий порыв.

А меня поразили ее тонюсенькие ручонки. Худышечка. У нее нашлись бутерброды, и она накормила меня. Я уже хотел было приволочь коньяк. Чтоб не остаться в долгу. Но осекся. Она так тщательно записывала давление, и ручонки ее при этом тряслись от счастья. Она была вполне способна вызвать охрану. При виде коньяка, например.

Поэтому я просто сидел возле нее, и мы болтали. Как в поезде. Коротали время. Потом у нее что-то взорвалось. Как-кая-то колба, к счастью, не самая творческая. Катя разохалась и выставила меня за дверь. Я пошел спать, все честь честью.

* * *

С утра в роли степного энтузиаста я долбал тот самый вязальный станок. Он сплетал сорок семь нитей – идиотская

цифра. Ну десять. Ну двадцать четыре. Ну сорок восемь, наконец. Я сменил ватман. Потом еще один. На свежака я с удовольствием работаю. Громышев, к примеру, знал это и частенько перебрасывал меня с места на место. Ценил. Выжимал лимон по всем правилам.

К обеду за мной стал ходить по пятам юноша. Впрочем, как выяснилось, моих лет. А выглядел совсем как мальчик. Светловолосый ангел с иконы. Стилизованный под Есенина. Типично русская красота. Хотя оказалось, что он, Игорь Петров, коми.

– Чего тебе? – сказал я.

– Хочу, чтобы ты со мной работал.

Оказалось, что у всех есть ученики. А у него, у Игоря Петрова, нет. Он улыбнулся. И еще раз сказал. Он очень хотел иметь ученика:

– Нравится мне, как ты станок разворотил.

– Уж больно ты красивенький.

И я его отшил для начала. А там посмотрим. Друг есть друг. И кто знает – может, мне еще долго вязать авоськи.

* * *

Вечером после работы мы опять с ней говорили. Этот вечер был особый. Узелок в памяти. Но сначала мы только говорили – я на порыве уговаривал ее ехать со мной.

В лабораторской комнате мы остались вдвоем на фоне бе-

лой стены. И все-таки нам мешали. В соседней лаборатории шло какое-то собрание – люди входили к нам и забирали стулья. Наконец осталось всего два стула – теперь они просто входили, оценивали ситуацию, извинялись и выходили. Им не было конца, один за другим. Затем вошел тип с усами и, глядя куда-то в сторону окон, выдернул из-под меня стул. Я поднял шум. Не отдал. И тогда Галька отдала ему свой.

– Ты надеешься, что я уступлю тебе мой, – сказал я, закипая от злости. – И не подумаю. Будешь стоять за свою доброту.

Стул я ей, конечно, отдал. И, словно только этого ждал, немедленно еще раз появился тип в усах, и этот стул уплыл за первым. Галька уступила, даже не заикнулась.

Мы остались вдвоем и без стульев – поплелись к подоконнику. Темнело. Этакая жалостливая минута. Два птенчика.

Галька ехать отказывалась – куда это она поедет? а работа? а жилье? а тот факт, что она чужая жена?

– Ты не знаешь Громышева, – говорил я.

– И знать не хочу.

– А зря. Он нам как отец родной будет.

И вот тут это случилось. В пустой, темной комнате. При незапертых дверях. Ей-богу, мы сами не ожидали. Галька сидела на полу и плакала. «Оденься. И тише, тише», – шипел я. А она все редела. Я прикрывал ей рот ладонью, беспокоился и суетился – все было явно нервное. За несколькими стенами продолжалось собрание, и нас прикрывал гул голо-

сов – но ведь кто-нибудь мог выйти покурить. И услышать. И вообще – могли начать вносить стулья.

– Тише, Галочка... тише, прошу тебя.

Она не унималась, и я совершенно потерялся. Не знал, что делать. Побежал вдруг за коньяком.

– Выпей, Галька.

Я ее тряс:

– Галька! Галька!

Я влил ей полстакана силой. Я сидел возле нее на полу и успокаивал. Галька понемногу приходила в себя. А я держал бутылку за горло – и тупо размышлял: долить ее водой или уже не доливать.

* * *

Я ее провожал. До самого дома.

Под ногами шуршали листья. Листья на асфальте. А Галька говорила в носовой платок:

– Мне надо подумать, как жить дальше.

Теперь она малость подыгрывала самой себе. Говорила слышанными где-то словами. Вот тогда, когда сидела на полу, она действительно была растеряна. Действительно не все понимала. Галька моя.

В их парадном, расставаясь, мы спугнули парочку. Парочка почти окаменела. Обычное дело. Осень.

Я брел по улицам и думал о том, как я буду увозить Галь-

ку. И как ее у нас встретят... Наконец я очнулся: мать честная, куда ж это я забрел! Какие-то дома. Темные громады. И холодно, и ветер. Москва родная, нет тебя дороже. В смысле денег. В том смысле, что никто ночевать не пустит. Это тебе не кукуевские степи.

Я шмыгнул в метро и быстренько доехал до Курского вокзала. Очень люблю Курский. Я сел на подвернувшееся место и стал дремать. Сосед слева тут же попытался приладить голову на моем плече. Неподалеку гнездились цыгане. Но я не беспокоился, мой самораскрывающийся чемодан был пристроен у Бученкова.

Я подремывал и улыбался. Галька. Радость моя. Любовь моя. Улыбка моя. Ну, и все остальное тоже.

Когда я засыпал, я обычно думал либо о Гальке, либо о том, как спасти мир. Но в эту ночь я, конечно же, думал о ней.

Глава 3

Небо было светлое и ясное, как над среднерусским полем. Или над степью. И кажется, если вдруг оглянешься – будет пустота, ковыль, кони без седел. И небольшие круглые горки.

Но ничего этого не было и в помине. Город – и лишь дома, дома, дома. Башни. Глядятся как кубики, но тоже любопытно, и тоже манит к себе – люблю утро. Где б ни случилось.

* * *

Но это не значит, что утро любит меня. Утро началось скверно. Едва я явился, меня встретил начлаб – перехватил в коридоре. Хрен лысый. И уже было ясно, что он специально меня поджидал.

– Убирайтесь! (Он был на «вы» даже в эту трудную для него минуту.) Вы не будете у меня работать!

И он пустил петуха на высокой ноте:

– Трепач несчастный. Вон!..

Я еще не понял, что случилось, но понял, что оно – непоправимое, потому что непоправимое всегда чувствуешь. Лысый начлаб раскусил орешек. Пронюхал – и уже знал, что я устроился сюда из-за Гальки. А не из-за его научного имени. Такое не прощают. Конец. И вдруг стало его жаль. Это ж какая насмешка. Жить в занюханной авосечной лаборатории,

вкладывать, уже ни на что громкое не надеясь, и вдруг однажды услышать, что твое имя знают в кукуевских степях. Это ж был праздник. Второе рождение...

Он орал. А я говорил себе – подожди жалеть дядю, себя пожалей. О себе подумай. Чужая печаль кажется невыносимее, но ведь это только кажется.

– Минутку, – сказал я. – Дайте мне хоть слово вставить. И дайте мне хотя бы неделю поработать. Как говорится, испытательный срок.

– Испытательный?

– Ну да.

– Считайте, что вы его не выдержали.

– Почему?

А он повернулся и ушел.

* * *

Галька сидела, не поднимая головы. Будто бы уткнулась в чертежи. Будто занята. МНЕ НАДО ПОДУМАТЬ, КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ.

На меня даже не глянула. Не подходи – было написано на лице. И гримаса боли, гримаса страдания. Да, изменила мужу. Но если ты сунешься вновь, я расцарапаю тебе всю рожу. Это тоже было написано.

Она еще не знала, что меня вытурили. Сидела и переживала вчерашнее. А лицо – не оторвешься. Господи. Что ж это

за лицо такое.

Я был на четвертом курсе. Она на три года младше, и лицо ее совершенно меня тогда не волновало. Еще не понимал, глупый был. На танцах. «Смотри-ка, кто это?» – «Кажется, первокурсница». – «Новенькая? Не может быть!..» И даже не помню, как я ее первый раз поцеловал. Это точно. Она мне сначала не очень нравилась. То ли на крыше целинного вагона. То ли после танцев. Не помню. Не представляю, где это случилось. А потом я ее как-то увидел в бассейне, и меня будто сшибли с ног.

* * *

И вот, глядя на ее лицо (она все еще будто бы уткнулась в чертежи), я понял, что ничто в мою пользу не решилось. И ничего я не добился. Ни да ни нет. И если меня выкинули с работы, где же я буду ее видеть и где уговаривать. Звонить из автомата? Подстеречь на улицах?.. И тут меня охватила такая ярость, что я за себя испугался. И за Гальку. Тише, говорил я себе, тише. Спокойнее.

Я подошел к светловолосому коми.

«Отличная идея!.. Идея просто блеск!» – это он говорил сам с собой. Стоял в углу у кульмана и сам собой восторгался.

– Отличная идея!

– Тсс, – сказал я ему, приложив палец к губам.

Он тоже перешел на шепот:

– Что случилось?

– Это ты мне скажи, что случилось: кто меня продал?

– А-а. Был здесь один тип... – И он замялся.

Сообразил я не сразу. Если громышевские подхалимы, так их ведь двое. Один из них был коротышка – с громадной башкой и золотыми зубами слева. Этот мог выложить лысому начлабу с предельной простотой: «Олег?.. Да он же из-за бабы сюда приехал. Гоните его немедленно!» Второй – очень болезненный и очень сутулый. Кашлюн. У Громышева их и было двое. То есть в Москве двое. Они представляли фирму. Доставали приборы. И шлялись по институтам, заманивая недоумков вроде меня в кукуевские степи.

– Ты уверен, что их было не двое? – переспросил я.

– Уверен. Был один.

Я даже растерялся. Не знал, что подумать. И вдруг спросил:

– Коротышка?

– Да.

– Башка громадная?

– Да.

– Фиксатый?

– С золотыми. Ты куда?

А я уже метнулся к дверям, я рванулся, мной выстрелили. Но у дверей пришлось остановиться и ждать – вся лаборатория опять и очень дружно вытаскивала вон мой стол. И он

опять застрял. Гроб. Эй, ухнем. Последняя картинка, которую я увидел в этой авосечной конторе.

Нет. Не последняя. В коридоре еще раз мелькнул лысый начлаб – взял из холодильника коньяк и нес к себе в кабинет. Кого-то угостить. Или, может, заврачевать собственную рану. Цвет у коньяка был чуть розовенький, как у выдохшейся воды с сиропом. Кукуевский разлив.

* * *

Пусть бы я сам просчитался, ошибся, дал маху. Было б не обидно. Я б перенес.

Ярость душила меня. Я даже оглох, плохо слышал.

Я примчался на такси, хотя денег было в обрез. Здание – тонкая и высокая модерняжка в двадцать этажей. Пластик, металл и стекло. И все в клеточку. На восьмом этаже этого гигантского учреждения небольшая комнатка. Одна-единственная – это все, что выделила Москва всесильному Громышеву, великому Громышеву, могучему Громышеву, громовержцу Громышеву. И, надо сказать, даже эту крохотную келью он вымолил у Москвы с трудом.

На подхалима-коротышку с громадной башкой я налетел прямо в коридоре. Наткнулся. Посреди гудящего улья.

– Ах, что за встреча. Как давно я вас не видел... – начал я, весь наливаясь кровью.

– Олег?.. Ну давай зайдем в комнату.

– А зачем в комнату? Мы и здесь поговорим.

– Ну не в коридоре же. Такой шум.

Он отступал к своей келье. Я за ним. Он побледнел.

– Давай зайдем в комнату, – приговаривал он. – Неужели же трудно зайти в комнату...

И я все шел и шел за ним. А когда вошел – увидел, что в кресле сидел Громышев. Собственной персоной.

– Олег! Какими судьбами! – посмеиваясь, начал он.

Они расхохотались. И Громышев, и оба его подхалима – тот, что вошел со мной, и второй, тот, что болезненный, он сидел у окна.

Я стал им чеканить, что Громышев или его подлипали (мне все равно кто) должны немедленно отправиться в тот авосечный институт. И должны сказать, что пошутили. И что я прекрасный работник. И что я устроился к ним не из-за кого-то, а сам по себе...

Они опять захохотали.

– Олег...

– Вы должны не-мед-лен-но, – уже на самом пределе чеканил я. И тут бог меня спас. Потому что я увидел себя в зеркале, которое в углу: увидел себя со стороны. Стоп. Сейчас ты схлопочешь. Милиция недалеко, и помни это. Ради Гальки. Еще не все потеряно...

Я подошел к графину, налил воды в стакан – выпил.

– Ты нигде не устроишься, Олег, – сказал Громышев.

– Это почему?

– Он, – Громышев указал на коротышку с огромной башкой, – случайно оказался в том институте. И, даю тебе слово, случайно тебя выдал...

Я молчал.

– Но отныне, – Громышев все еще тыкал пальцем в коротышку, – по моему совету он будет иногда звонить в отделы кадров. Куда бы ты ни устроился, за неделю-другую он тебя отыщет. И скажет там, что ты бросил у нас работу и сбежал в трудный час. Тебя не возьмут в штат нигде.

Это было весомо. Не отнимешь.

– Что ж, – сказал я, – побуду свободным.

– В Москве нельзя быть свободным. Это тебе не степь.

– А я попробую.

– Ты умрешь с голоду. И ты, и твоя Джульетта.

Нет, он не собирался лишать меня права на работу.

Он даже очень хотел, чтоб я работал. Но только в одном и единственном конкретном месте. У него.

– Поживи. Поживи свободным. – Он улыбнулся во всю ширь. – Поживи.

Я сказал:

– Поживу, Алексей Иванович, и к вам не вернусь. А что касается голода, то ведь во всякой свободе есть свои пятнышки.

Это было его собственное выражение. Насчет пятнышек. Подхалим, тот, что болезненный, отметил мой выпад.

Громышев улыбнулся:

– А ведь был еще пожар, Олежка. Конечно, может, она сама загорелась, это я про степь. Но одни тушили больше, а другие меньше. А если кто-то в те же самые дни убегает...

Это был намек. Он много мне делал доброго и потому как бы имел право один раз сделать подлость. Во всяком случае, намекнуть на подлость – это он мог. Право сильного, который долго тебе потакал. Право человека, который засиделся на собственном благородстве.

– Давайте, давайте, – сказал я. – Действуйте. Видно, вам без этого не обойтись.

Я ушел. Тут же повернулся и ушел. Хлопнул дверью со звоном. Все как надо.

* * *

– Можно вас? На минутку...

Я уходил по коридору, а этот человечек жалобно меня окликнул. Стоял с тетрадкой в руке. И с мольбой в бегающих голубых глазах. Зарос недельной щетиной.

– Вы хорошо знаете математику?

– А что вы хотите?

– Кончали институт?

– Да, – сказал я и тут же пожалел об этом.

Он протянул мне тетрадку. Так и есть. Ферматист. Несчастный человек. Я их посмотрел еще тогда, когда был студентом. Они околачиваются в коридорах всякого техни-

ческого или научного учреждения. Просят проверить решение теоремы Ферма, которую они «доказали».

– Посмотрите, пожалуйста. Проверьте, пожалуйста...

И теперь я не знал, куда от него деться. Теорема Ферма формулируется очень просто и привлекает к себе целую армию шизиков. Или просто несчастных. Которым нечем унять печаль свою.

– Простите. Меня зовут. – И я бросился от него, как бросаются в воду.

Когда в конце коридора я оглянулся, он уже предлагал свое решение теоремы следующему. Совал ему свою тетрадку: «Вы сносно знаете математику? Вы посмотрите мое решение? Я, кажется, решил знаменитую теорему Ферма...» Один из этих психов треснул доктора физматнаук по голове. За то, что тот отыскал ошибку в его доказательстве. Настольной лампой. Знаменитое дело. Он был тогда в резиновых калошах на босу ногу.

* * *

Выйдя на улицу, я тут же кинулся к телефону-автомату – позвонил в министерство. В наш отдел.

– Вы знаете, что в Москву прилетел Громышев? – спросил я тоном анонимного гада.

– Да. Нам это известно.

– Он прилетел вчера.

– Да, мы знаем... Алло? Алло?

Но я уже сказал себе: прекрати, не надо. Я хотел сочинить, что он тоже прилетел в Москву из-за женщины. Как он мне, так и я ему, клин клином. И что он слишком часто выписывает себе командировки. И что, дескать, надо его побыстрее загнать в Кукуевск... Но рука не поднялась. Точнее сказать, опустилась и повесила трубку. Я стоял в телефонной будке и задыхался от неутоленного гнева.

– Эй! – крикнули мне. – Выходи. – И постучали монеткой по стеклу. – Если не звонишь, выходи. Дай другим.

И я вышел.

Я подстерег ее по дороге с работы.

– Галка!

Лицо ее было сурово. Обтянутые скулы. Сейчас будет говорить, что я подонок.

– Галка, меня с работы выперли. Знаешь?

Она не знала. Но на жалостном голоске к ней не подъедешь.

– Вот и прекрасно.

– Что тут прекрасного? Где же нам видеться?

– А разве надо видеться?

С ней можно было спятить. Если ее не знать. Я шел с ней рядом и молчал. Шел себе и молчал. А дом их был все ближе.

– Ты дурак. Ты подонок. Ты даже не представляешь, каково мне сейчас. После того, что произошло.

– Что? Что произошло? – Я вдруг взорвался. Ханжа какая.

Терпеть этого не могу. Двадцать три года, и уже ханжа. — Что произошло? — орал я. — А что происходило у тебя каждую ночь? Пока я в степях коптился? Что? Что?

Но она стояла на своем. Пусть даже голос ее дрожал.

— Все равно, Олег. Для меня то, что случилось, не пустяк.

— Что-то серьезное?

— Можешь иронизировать, если хочется. А я говорю — не пустяк. И переживаю это. И мучаюсь. И мне больно.

Я замотал головой. Я уже не мог ее слушать. Я не то замычал, не то завыл:

— У-у-у...

И почувствовал, что плачу.

— У тебя глаза мокрые, — сказала она. — Вот видишь. Одно дело болтать и строить из себя циника. И совсем другое дело, когда вдруг сам свою неправоту почувствуешь.

Я чуть не треснул ее. Глаза у меня были мокрые, потому что она в каком-то смысле была дура душой. Совершенно без ума. Вся из шаблонов. А я ее любил, именно такую. Заколдованный круг.

Увидев мои слезы, она очень скоро разревелась и сама. На нас уже глазели и оглядывались.

Мы сунулись в парадное, но неудачно. Там старички вынимали газеты и судачили о политике. О том, что в ООН голоса разделились почти поровну. И что если б филиппинец (всего лишь филиппинец!) выступил за нас...

— Пойдем, — сказала Галька, тут же шарахаясь от них и раз-

ворачиваясь на сто восемьдесят. Она всхлипывала. Ее платок превратился в жалкий комочек. Она прикладывала его к глазам.

– Вот еще парадное. Здесь тихо, – я потянул ее за руку.

– Нет.

Но мы все же зашли. Постояли там минут десять. Поцеловались. Покурили. Галька сделала две затяжки из моих рук.

А итог был таков:

– Не трогай меня эти несколько дней. Не трогай. Дай мне подумать. Дай побыть одной.

– Думай, – сказал я без энтузиазма.

Я не прошел и ста шагов, как столкнулся с этим красивым коми: он тоже шел с работы. Ходячий портрет Есенина... Если бы я прошел хотя бы двести шагов, я бы уже перестроился. И загнал бы беду вглубь. И молчал бы. А тут я как бы не успел – и сгоряча все ему выложил.

Он был потрясен. Очень за меня опечалился. А я говорил и узнавал (сам от себя, такое бывает), как выглядит со стороны вся эта история. Я любил Гальку. Галька любила меня. Но когда Громышев увез меня на три года любоваться кукуевской степью, Галька выскочила замуж. Может, и не потому, что устала ждать. Может, просто срыв. На какой-нибудь вечеринке с хорошей музыкой. Музыка кого хочешь проест.

– Обожаю Битлов, – вздохнул коми.

А я вдруг озлился на его поддакивания и сказал, что англичане позеры. Вообще позеры. У них раньше времени воз-

ник хороший театр, а это их погубило. Не знаю, зачем я говорил (может быть, подсознательно метил в адрес Гальки?). Меньше всего я думал об англичанах. Я вообще о них никогда не думал. Я просто молил языком.

Вот именно. Она не выдержала прекрасной музыки, а после ей уже ничего не оставалось, кроме как выйти замуж. И тогда я бросил все и примчался. И мы еще посмотрим, чья возьмет... Так я говорил, а слушал меня этот славный парень коми. Звали его Игорем. Игорь Петров.

И получилось, что мне, такому замечательному, так не повезло в любви.

И потому – он меня ни в коем случае не бросит. Я буду жить у него. Это как первая помощь утопающему. Как вдох-выдох.

– Ко мне, – сказал он. – Сейчас же ко мне.

Глава 4

Он пригласил, как приглашают по меньшей мере в трехкомнатную квартиру, разумеется свободную и без нагрянувших туда родичей. Но квартиры не было. Была комнатуха с крохотным темным оконцем – мечта одинокого фотографа. А в общем – коммуналка. Соседей было одиннадцать человек. Один из них, как водится, непросыхавший.

Я не был избалован так называемой пошлой роскошью. Я даже не знал, что это такое. Но я привык находить в кукуевских степях свободу, в поезде – ощущение Времени, а в Москве хотя бы ванную комнату. Здесь такая комната была, но со слишком четким расписанием, кому и когда мыться. Висела ясная как день таблица. Единички и нолики. Как первенство СССР по шахматам.

Мысль для равновесия. Ванна была потрескавшаяся, а ржавчина в ней гнусного желтого оттенка. Я ее минут десять скоблил и думал, что тем не менее в ней, потрескавшейся и проржавевшей, люди отмываются. Делаются чище.

* * *

Когда, отдуваясь и блаженствуя, я вышел из ванной, Игорь Петров сидел над схемой станка.

– Что ты так долго?

– Мылся.

– Ах, черт. Сегодня же не мой день в ванной!

Расстраивался он недолго.

– Посмотри-ка ременные передачи, – сказал он.

– Ну.

– А теперь посмотри число оборотов. Славно я придумал?

Он был, что называется, увлечен. Ушел в свой станок с головой. И меня звал туда же – работать, сейчас же работать! Он не сомневался, что к жизни меня вернет творческий порыв. А меня уже вернула ванна.

Я вдруг развеселился. Сбоку лежал листок с одним из вариантов станка, сплетавшего сорок семь нитей. Я растирался полотенцем и делал вот что – незаметными движениями пера с черной тушью менял латинское «и» на игрек. Это просто. Только подделать хвостик. А какой был эффект! – противоположные точки сливались в одну. Станок сделался треугольным. Теперь из всей прядельной продукции на нем можно было вырабатывать разве что флажки для казацких пик.

Игорь Петров долго и тупо глядел на листок. Потом – на меня.

– Флажки, – сказал я.

– Какие флажки?

– Ты думаешь, на них не будет спроса? Казацкие флажки: треугольные. В старом стиле. Для массовых съемок на «Мосфильме».

Я почувствовал, что сейчас он меня убьет.

– Ну-ну, – сказал я, отодвигаясь.

Я стал исправлять сделанное, потому что ничего другого мне не оставалось. Я уверил его, что все помню и что не ошибусь.

Когда мы хватились поестъ, магазины были закрыты.

Мы пошли с протянутой рукой. Я был слишком голоден, чтобы ждать рассвета.

– Вот видите. В некотором смысле все же хорошо жить с соседями, – прошелестела женщина из соседней комнаты, давая нам хлеба и масла; сахар у нас был.

Она же уточнила:

– Правда, приходится терпеть и такое.

И она плеснула своей полной рукой налево – из комнаты, что рядом, неслась удалая песня. Там жил непросыхавший. Он пел и как будто специально напоминал мне о Гальке. Я очень терпим к пьяницам, но этот мне не понравился даже через дверь.

А в терем тот высокий

Нет ходу никому...

– Эй! Заткнись! – заорал я. И грохнул ногой в дверь. Он не заткнулся, но песню сменил.

Пока Игорь Петров был в институте, я томился в его холостяцкой комнате. К концу дня, когда я заваривал чай на кухне, туда же выполз непросыхавший. Ему было лет тридцать. Здоровячок. С мутными глазками.

– Не иди за мной, – сказал я.

– Чего?

Он все же увязался; он попытался завязать разговор о жизни, но я его выставил. В старых пьяницах есть хотя бы уважение к самому себе. Достоинство есть. Или же в них есть нечто, вызывающее пронзительную жалость. Сострадание. А в этом тридцатилетнем мутноглазом быке не было ровным счетом ничего. Ноль. Совершеннейшая пустота. И каждые двадцать минут отрыжка.

– И ты... И ты гонишь? – сказал он, когда я выставлял его за дверь.

Наконец пришел Игорь Петров. Сообщил, что Галька на работу не выходила.

– И не выйдет, – сказал я убито, – это теперь на несколько дней.

– Почему?

Я не стал объяснять. Но я хорошо знал Гальку. Она действительно будет думать о смысле жизни. Она такая.

И тут я почувствовал, что не могу больше томиться. По-

тому что хватит с меня. Стоп. Я почувствовал, что хочу кого-нибудь видеть. С кем-нибудь потрепаться. Из наших, из забытых.

Но дело в том, что записную книжку я оставил там, в степях. Слишком шустро бежал оттуда. А прошедшие три года – срок, конечно, немалый. Ни телефонов, ни адресов. Я помнил лишь телефон Вики Журавлевой, потому что последние четыре цифры совпадали с годом моего рождения. Но знакомство с Викой у меня было невыразительное, через других. К тому же она могла быть замужем.

– Да зачем она тебе? – кипятился Игорь Петров. Этот милый коми понятия не имел, что такое три года в кукуевских степях. Такое не объяснишь. Я затопал в коридор – телефон находился там. Общий, как и ванная. Но без расписания.

– Ты замужем? – первое, что я ей заорал.

Во всех комнатах коммуналки стало удивительно тихо. Затаили дыхание.

– Нет. – И Вика Журавлева засмеялась.

– Ну тогда приезжай. Поболтать хочется.

– Как это «приезжай»?

– Автобусом, метро, такси. Как хочешь.

– Олег. Не могу я. Я подругу провожаю.

– Приезжай с подругой.

– Бестолковый какой. Я же тебе сказала – она улетает сегодня в ночь. В Киев... В другой раз, Олег, я с удовольствием.

Главное – это долбить как дятел.

– Нет, Вика. Ты все-таки приезжай – вместе ее проводим. Я ей чемодан нести буду.

* * *

Они приехали. Подруга была с чемоданчиком. Внешне так себе. Но гордая. Держалась как княжна Тараканова.

Вика Журавлева, напротив, высказалась этак простецки:

– Как это вы нас приглашали?.. А стол-то пуст!

Вика понимала, что к чему. Не ломалась. Три года без замужества делают женщину проще.

– Сию минуту, – сказал я.

– Только учти – у нее в два ночи самолет.

– На Киев? – спросил я.

– Да, – ответила княжна величаво.

Я вышел. Толкнулся к непросыхавшему. Он сидел в полном одиночестве: как загипнотизированный.

– Эй, – тронул его я.

– Что?

– Пойдешь в магазин и купишь три бутылки вина. Одну из них возьмешь себе – за труды. Понял?

Он понял. Он мгновенно понял. Я еще не выложил деньги, а он уже протягивал за ними руку.

– Подожди, – сказал я. – Если ты вернешься пьяный, без денег и без бутылок, то помни, что у меня в портфеле есть

молоток. Я проломлю тебе им голову.

– Да ладно тебе.

– Помни: я человек степной. Я сначала бью, а потом думаю.

Он взял деньги и ушел. Или он видел, что у меня никакого портфеля не было, а стало быть, не было молотка (для пьяницы мелкий факт очень важен). Или же тут действовали более тонкие законы бытового алкоголизма. Не знаю. Но только он не пришел. Как в воду канул. Прошел час, а его все еще не было. Магазины уже были закрыты.

Я не очень жалел. Вино хорошая штука, но без него иногда пьется чай. Люди несколько скованны, робеют, но в этом-то и суть. Разговор осторожный и ломкий, как тонкий лед. А инстинкты в глубоком пока резерве. Еще успеется.

* * *

Мы посидели и поболтали. Игорь, Вика Журавлева и я говорили. Княжна мило молчала. Часа через два начали собираться.

– Надо найти такси.

– Найдем, – сказал Игорь Петров.

Он очень хорошо держался. Уверенно.

Когда мы спускались по лестнице – слышали шум и гам. Потому что этажом ниже шла настоящая гуляба. Пьянка классического образца: вечеринка с песнями. И никакого те-

бе чая. На лестничной клетке два хорошо одетых и хорошо выпивших парня спорили. Они так сыпали словами и столько вкладывали страсти, что я решил – моднючая, мол, разговорная бодяга. Физики и лирики. Стойки и нытики. Оказалось, однако же, совсем не то.

– Давай его просто выкинем на улицу, – предлагал первый.

– Неудобно.

– А в доме держать такую пьянь удобно? И как он сюда попал?

– Вдруг мы его выкинем, а он окажется их родственником.

– Нет. Они его тоже впервые видят.

– Что ты предлагаешь – прямо так вынести и положить его на асфальт?

– Если ты такой нежный, можно на клумбу.

– А если мы его вынесем, а он там даст дуба?

– А если он в доме даст дуба?

Все это они выкрикивали в темпе скорострельного автоматического оружия. Я еле смекнул, в чем дело.

– Стоп, – сказал я своей команде. – Это ж о нем речь. Это ж он!

– Кто?

И я объяснил – это, мол, наш долгожданный.

Мы приостановились. Но тут заупрямилась Вика Журавлева – опоздаем, дескать, на самолет. Дескать, как хотите, а в аэропорт доставьте. Она хотела, проводив княжну, возвращаться не одной, а с нами вместе. Ей было далеко ехать.

А может, хотелось, чтобы ее проводил льняной Игорь Петров. Поди угадай, чего она хотела.

Но я при случае тоже упрям.

– Стоп, братцы.

И я объяснил им, что это нечестно. Парень все сделал, как обещал, – купил нам вино и даже принес. А если он ошибся этажом, это не умысел. Это беда, а не вина.

– Да на черта он тебе сдался?! – шумела Вика.

– Надо его уложить спать.

– Мы опаздываем!

Но я не мог его бросить: ведь посылал его я. И потому я бросил не его, а их. Игоря Петрова, некрасивую княжну и шумливую Вику. Я поднялся опять наверх и сказал спорящим на лестничной клетке, что все-таки не надо этого перепившего парня прятать в газон. Все-таки осень. Холодно.

– Я же ему говорил! – обрадовался поддержке второй. – Вот и друг говорит, что на клумбе будет холодно. Осень есть осень!

В приоткрытую дверь слышались шум и гам застолья. Я вошел. Непросыхавший сидел на стуле – свесил голову и пускал пузыри. Лыка он не вязал. Я подхватил его и поволок на этаж выше – домой.

Я совершенно взмок. Я уложил его на постель, пиджак повесил на стул. И зачем-то решил его даже разуть. Люблю, когда держат слово. Для таких я тоже всей душой.

– А еда в доме есть? – вдруг спросил он тупо. Спутал меня

с женой, которая, видно, не один раз доставляла его домой волоком. – Изменять?.. мне? – И он двинул меня в подбородок.

Если это был не нокаут, то что-то очень на нокаут похожее. Я тут же улегся на пол возле кровати. Когда я очнулся, он плакал. И здорово скрежетал зубами.

– Гадина!.. Изменять мне с Шариковым!

А глаза его были закрыты. Я погасил свет и, пошатываясь, кое-как выбрался.

* * *

Повезло – я тут же схватил такси и примчался в аэропорт. Там я нашел княжну с чемоданчиком. А этой парочки, конечно, уже не было. Княжна сидела, подперев голову рукой. Нет, не спала. Рейс отменили, и она ждала следующего.

– Это называется, они тебя проводили.

– Они проводили. – И она спокойно добавила: – Здесь им незачем торчать.

– Еще бы. Вдвоем им гораздо веселее. Теперь я припоминаю – у Вики Журавлевой всегда была мертвая хватка.

– Возможно.

Она не хотела сочувствия. Держалась княжной. Ей не очень-то важно, осталась ли она одна или в компании. Она древнего рода и цену себе знает. Звали ее Валею. Сейчас стало видно, что она некрасивая.

– Я посижу с тобой до самолета.

– Посиди, – сказала она.

А мне до боли захотелось в Киев. Или в Новгород. И самолета захотелось. И еще какого-нибудь города, где я не был. Одичал в степях. Огрубел. Ну? что будем делать?.. Я сбегал в кассу и купил билет – на тот же рейс. Я не сказал княжне, не сообщил, сидел с ней рядышком, вот и все. Она очень удивилась, когда я пошел с ней до самого самолета. И тем более удивилась, когда я вошел внутрь (я приотстал и незаметно предъявил билет).

– Теперь разрешается провожать, – сказал я княжне, – как в поезде.

– А я не знала.

– С мая месяца.

Когда заревели моторы, она не на шутку испугалась.

– Иди, иди!

– Подожди, – говорил я. – Мы же еще не простились.

И я ее поцеловал. Очень нежно. Я подумал, что она ведь и гордая, и некрасивая – при таком сочетании сахара не поешь. Небось еще ни с кем не целовалась. И я готов был отдать ей душу. И ведь какая гордая. Княжна. Я хотел, чтобы ей было приятно. Я знал, что Галька меня поймет. Я только чуть прикоснулся к ней губами.

Самолет уже выруливал на дорожку.

– Иди! – А я сидел с ней рядом, не уходил. Я и просил у кассирши это самое место.

Когда самолет начал разбегаться, ей стало малость плохо, и пришлось попросить у стюардессы воды. Нам откупорили нарзан. Княжна вздохнула и приоткрыла глаза.

– Ты потрясающий парень, – шепнула она мне. Она так и осталась в неведении.

И нас уже принимал киевский аэропорт.

Она жила под Киевом. На каком-то химкомбинате – совсем не близко. Мы добрались электричкой. Потом с автобуса на автобус. Здесь было еще тепло – даже солнышко слегка грело. Я держался с Валею рыцарем. Помнил о своей любви. Такое со мной бывает.

Пока ждали проселочного автобуса, сами собой случались этикие искушающие минуты. Кругом были какие-то кусты. Кусты и деревья. Мы бродили.

– У меня в Брянске дядька. Надо будет заехать к нему обязательно, – машинально говорил я.

Мы шли в совершенном безлюдье, вдоль какого-то ручья. Мне хотелось ее поцеловать, но я сдерживался. Из-за своей некрасивости она была мне как сестренка – можно было бы, конечно, всласть нацеловаться, но она будет строить планы, думать обо мне, а ведь я не ее люблю.

Когда мы залезли в мелкую топь, я взял Валу на руки. Перенес. Правда, я упал и уронил ее. Но тут же опять взял на руки. Я сдерживался. Я старался думать о постороннем и ни в коем случае не увлечься ею. Тут главное – не посмотреть ей в глаза...

– Олег...

Она позвала еле слышным голосом:

– Олег...

Но я отвел глаза. И стал смотреть на верхушки деревьев. И конечно, опять ее уронил.

– Ты что? Нарочно, что ли? – взвилась она.

Я ее еле успокоил. Себе я на память здорово расшиб колено. Чтобы я взял ее на руки еще раз, она не захотела. Мы просто шли. Одной рукой я нес чемоданчик, а другой бережно обнимал ее за плечи.

– Тебе хорошо? – спрашивал я.

– Да.

Развязка наступила, когда мы пересаживались на тот автобус, который шел уже до самого химкомбината. Валя сказала, чтоб я не провожал ее дальше. Большое спасибо. И взяла свой чемоданчик.

– Почему не хочешь, чтобы я проводил до дома?

– У меня муж.

Это было несколько неожиданно. Во всяком случае, для меня это прозвучало свежо и ново. Но это было еще не все.

– Муж?.. Ну и что же, – вполне искренне сказал я. – Я ведь только донесу твой чемодан. Я обещал.

Но оказалось, что муж у Вали очень ревнив. Ужасно ревнив и подозрителен. Оказалось, что это ее третий муж. И, как сказала Валя, это для нее «еще не вечер». Потому что с ним она тоже жить не будет, уж очень ревнивый. Ошиблась,

что поделаешь!..

Она стояла, гордо подняв голову, и улыбалась. Княжна. Я вдруг увидел, что она очень даже хороша собой.

– Эх, ты, – ласково пожурела она. – Упустил время! – Чмокнула меня в щеку и рассмеялась. И впрыгнула в автобус. И дверь за ней закрылась.

Автобус укатил. Я стоял на пыльном перекрестке и некоторое время чесал в затылке. Люблю таких. Потому что учат уму-разуму. Тихо и без нажима учат.

* * *

С этого пыльного перекрестка я отправился к дядьке в Брянск. Отправился быстро и даже с некоторым желанием его, то есть дядьку, увидеть. Но меня стало сносить в сторону. Как сносит ветром. Сначала с морячком Жорой я поехал в Николаев. Познакомился с ним я на вокзале и жил у него в Николаеве целых два дня. Из Николаева я твердо решил – теперь в Брянск. И отправился с каким-то пареньком на Кубань ловить щук.

Неделю меня носило и мотало. Я попросту не мог остановиться. Оголодал в степях – соскучился. По людям. По рекам. По городам. Ничто так не освежает, как незапрограммированное мотанье.

Наконец я добрался до Брянска. Чувствовал себя великолепно. Денег не было ни копейки. Я даже не заметил, куда

они делись.

Еще два слова. Когда меня носило и мотало, я видел часовенку. Слегка разрушенную временем, но еще в теле. Опрятненькая такая – в ста шагах от перекрестка. Не знаю, что это была за часовня и в чью память. Тогда об этом не рассуждали так много. Я, конечно, постоял, вспомнил, что я уралец, – но и не больше. И птички чирикали. Вот и все.

Если птичек в счет не брать, то было тихо. Я стоял и просто смотрел на часовенку. А она смотрела на меня.

Глава 5

В Брянске дядька завел свою обычную песню:

– Кто ты есть? Есть у тебя квартира? Сколько ты получаешь?

Я уже жалел, что приехал. Дядька был из тех, с кем можно говорить только по междугородному телефону за счет вызываемого.

– Запомни! – изрекал он, а я слушал. Потому что он был брат моего отца, притом старший брат. С претензиями на главу рода или клана. Дескать, родичи должны держаться вместе. Друг другу помогать. Писать письма. Устраивать племяшей. И так далее. Я бы в жизни к нему не заехал. Ма-тушка умоляла.

Он изрекал:

– Запомни. Кто не умеет добиваться положения или хотя бы денег на первом своем дыхании, тот уже никогда этому не научится.

Я запомнил.

– Человек, когда он уже на втором дыхании, способен только затыкать прорехи и дыры. И не жизнь у него, а затыкание дыр. Лишь бы не потонуть.

Меня он считал самой паршивой и самой дрянной овцой в столь многочисленном и сильном (все это в будущем!) клане Чагиных.

– Где ты живешь?

Дядька выглядел, как и должен выглядеть всякий солидный человек в очках с золотыми ободочками. И плюс – могучий физически. Курит дорогие сигареты. Носит узкие брюки. Не дурак. Но считает себя совсем уж умницей. Пишет лаконичные поучающие письма родичам. Иногда пишет и в газету.

– Где ты живешь? В Москве? В Киеве? В Ленинграде?.. Ах, в Кукуевске!

Это он иронизировал.

– Даже выговорить неприлично, – улыбался он.

Я сидел с набитым ртом и молчал. Я решил, что хотя бы наемся у него до отвала.

– Ты знаешь, что приходит человеку в голову, когда он слышит название – Кукуевск?

Я кивнул. Я поддакивал. Я совсем не хотел выступать в роли честного парня, презирающего блага и деньги. Мне эта роль уже надоела. Слишком она худосочная и серенькая. Для телевидения. И потому я продуманно набивал рот и только поддакивал. Я хотел спокойно поесть. И ссора возникла случайно – сама собой. Наевшись, я посетил уборную, а когда выходил, по инерции, в духе обычной моей шутовской болтовни спросил, тыча пальцем в рулон туалетной бумаги:

– Дядь, а бумагу из общественного туалета берут на первом дыхании? Или уже на втором?

Глупо, конечно. Тем более что он нигде никогда и ничего

не брал.

Он прямо-таки взвыл:

– Меня?.. Меня назвать вором?

В глазах его выступили слезы. Вот уж было неожиданно. Такой сильный человек.

– Вон!.. Я и матери напишу, что я тебя, подлеца, выгнал! –
И он меня выгнал.

* * *

Без билета мне, разумеется, не удалось уехать в Москву с первым же поездом. И с третьим тоже не удалось. Так что время было. На последние копейки я заказал междугородный с матушкой. Брянск связали с Южным Уралом за какие-то двадцать минут.

– Мама!.. Да, я из Брянска. Уже был у дяди. Все хорошо. Все отлично. Я уже возвращаюсь – я на вокзале.

В разгар нашего родственного воркованья я сказал:

– Мамочка, вот еще что. Дядя пришлет большое письмо на твой адрес. Это письмо мне. Там дядины мысли о том, как жить. У нас с ним был большой и серьезный разговор. Ты это письмо вложи в новый конверт и перешли мне в Кукуевск. Хорошо?

– Хорошо, Олег.

Матушка была счастлива. Оттого, что я хоть раз поладил с дядей. Поговорил с ним по душам.

Она даже вздыхала не так часто. Хотя, конечно, вздохнула:

– Значит, не заедешь? (Раз уж просишь переслать письмо.)

– Не знаю, мама. Посмотрим...

А потом я добавил:

– И не вскрывай письмо, хорошо? Там есть, как бы это тебе сказать... чисто мужские выражения.

– Бога ради, Олег. Если письмо не мне, я и не вскрою.

– Правильно, мама.

Она даже приобиделась:

– Будто ты меня не знаешь.

– Знаю, мамочка, знаю... И целую тебя. Нас прерывают.

Я ее любил. И не хотел огорчать. Главное – это беречь нервы близких тебе людей. Иначе они тебя съедят.

Но нас не прервали – забыли прервать.

– Значит, ты сейчас в Москве? – начала спрашивать матушка все заново.

– Да. В командировке.

– На месяц?

– Да.

– Много работы, Олежек?

– Не очень – как видишь, я сумел урвать денек-другой и смотаться в Брянск к дядьке. Брянск великолепен! А река! Когда идешь по...

– А в Москве ты живешь в гостинице? (Она в третий раз

это спрашивала.)

– Конечно.

– А почему же там нет телефона? (Тоже в третий раз.)

– Я же объяснил, мама, – в гостинице идет ремонт.

Она глубоко вздохнула. Заплакала:

– В Кукуевске трудно работать – да, сынок?

– Нормально, мама.

– Олежек, ты не работай слишком много. Не переутомляйся.

– Хорошо, мама.

Она робко спросила, в чем цель моей командировки. Я ответил – целей несколько. Научных. Конкретных. Но, если говорить вообще, командировка расширяет кругозор...

– Ты у меня толковый, Олежка. Я тобой горжусь.

– Ну-ну, мама, – скромно остановил ее я.

– И молодой Василий тобой гордится. (Это мой двоюродный братец.)

– Уже в десятом классе?

– Да. Во всем тебе подражает. И в тот же институт поступать хочет. Узнал, что ты кофе любишь, – тоже теперь увлекается. Кофе не вредно ему?

– Пусть пьет, – во мне вдруг прорезался педагог, – но только в меру, в меру! Все хорошо в меру, мама!

– Он очень часто заходит к нам. Книги твои берет.

– Но он не сдает их в букинистическом?

– Бог с тобой, Олежек! Он скромный мальчик – вылитый

ты... Когда в другой раз позвонишь, он хотел бы с тобой поговорить – мальчик мечтает о разговоре...

– Хорошо.

– Ты вечерами будешь звонить или по утрам?

– Не знаю.

– Он так будет рад. Он во всем подражает тебе. Даже в походке. Ты для него идеал... – На слове «идеал» нас прервали.

* * *

Я приехал в Москву и первым делом кинулся к Игорю Петрову. Узнать о Гальке – вышла ли она, наконец, из транса и ходит ли уже на работу? Но Игоря не было. В дверях, ожидая, торчала записка. Мне.

«Олег, привет. Галя попала под машину, когда переходила дорогу, – чистая случайность, никто не виноват. Галя в нашей больнице. Предстоит операция. Игорь Петров».

Шумела вода – кто-то наполнял ванну, соблюдая график коммунального жилья. А из комнаты непросыхавшего доносилась прежняя. Будто он и не прекращал петь.

А в терем тот высокий
Нет ходу никому...

Я примчался в больницу. Туда, понятно, не пускали. Не помню, чтоб меня сразу пустили туда, куда я очень хотел. В

дверях стоял громадный медбрат. Руки – как у меня ноги. Спрашивал пропуск. Или допуск.

Плащ я временно возле него и оставил: «забыл» на стуле. Это надежно.

Я присматривался – ходил и ходил вокруг здания больницы. В Москве уже здорово похолодало. Осень – это осень. И потому окна закрыты. Жива, и хорошо, думал я. Главное, что жива. Могло быть хуже. Могло быть просто темное пятно.

Я высмотрел открытую створку окна. Оттуда валил пар. Я подошел ближе – кухня. И вроде бы ни души. Я мигом подтянул тело, протиснулся – и был уже на кухне. У плиты. Я вышел в коридор. Я знал, что Галька в одиннадцатом отделении. И что нужно на третий этаж.

Люблю удачу. Потому что только через нее постигаешь, что одарен фантазией. Когда я сунулся на третий этаж, меня погнали, и довольно грубо. А на втором меня осенило свыше. Врач, совсем молоденький, стоял у окна в коридоре – он мог быть мной, а я им, разве нет? Он смотрел в окно, в сторону морга. А может, принюхивался к запахам кухни. Не знаю.

– Послушайте, – сказал я с укоризной, – опять на вас грязный халат.

Он обернулся и хлопнул глазами.

– Вы же врач, – продолжал я. – Сами должны об этом помнить, а не я вас одергивать.

– Что?

– Снимайте-ка ваш комбинезон. Халат, халат я имею в виду. Давайте сюда.

Он быстро и послушно снял халат. Отдал мне. Я взял и мигом удрал на третий.

Меня беспокоило лишь одно – близость этажей. Хорошо было бы провернуть то же самое где-нибудь на шестом. Но ведь идея захватила меня мгновенно, не до тонкостей было. И потом, удача есть удача. На нее не пеняй.

* * *

Я прошел коридором – и в палату. Женщины. Четверо. Одна из них тут же предупредила, чтоб я говорил шепотом.

– Я только гляну.

– Я ведь не против. Но могут зашуметь сестры, – пояснила она.

Галька спала.

– Ей укол наркотика сделали. Спит.

Лицо было чистое. Ни царапины. Остальное под простыней. Не видно.

– А почему тянут с операцией?

– Анализы делают. Снимки делают.

И тут меня вытурили. Влетела старшая медсестра – и за рукав, и тянет. А когда мы (она, мой рукав, а затем я) оказались за дверью, она в крик:

– У нас нет посещений. Я вот узнаю, кто это вам выдал

халат!

Я молчал. Я в гневе ушел. Но не совсем. Поболтавшись на лестничных клетках, я тут же вернулся.

Я зашел в ординаторскую. К врачу. Он уделил мне ровно пять минут. Он сказал, что жизнь вне опасности. Но после операции предстоит длительное лечение. Полное восстановление организма может произойти, а может, и нет. Неизвестно.

– Что ей нужно? – спросил я.

Ответ был лаконичен:

– Гранатовый сок. Икра. Фрукты.

– Ого! – Я даже растерялся. Это ж какие деньги. И уже конец октября. Скоро снег выпадет.

Я спустился вниз, надел плащ прямо на халат и вышел из больницы. Я шел куда глаза глядят.

«Это несправедливо», – бормотал я самому себе. И думал, какая она сейчас там под белой простыней. Это несправедливо. Это они специально сделали. Они наскочили на нее машиной, хотя прекрасно знали, что я приехал, чтоб ее увезти. Они сделали мне это, как делают пакость. Чтоб я согнулся. И чтоб заблеял. Чтоб стал жалконький и тихий. Они знали, что ничем другим меня не подденешь. Суки.

Я говорил – «они» такие, «они» сякие. Я прекрасно знал, что никакие «они» не существовали и не существуют. Но так мне было легче. «Они» – это случай, судьба, удача и тому подобное.

Я очнулся, когда понял, что спешу – спешу к той длинной и высокой коробке в двадцать этажей, которая вся в клеточку – из пластика, стекла и металла.

Там, в комнатухе на восьмом этаже, сидел лишь тощий подхалим. Один-одинешенек. Тот, что болезненный и кашляющий. Симпатичный. Подхалимом он, разумеется, не был, это уж я так. Для словца. Он был представитель нашей фирмы. Вот именно. И с ним вполне можно было ладить.

– Громышев скоро придет? – спросил я, здороваясь и усаживаясь на стул.

– Алексей Иванович не придет. Алексей Иванович уже улетел. Это была неожиданность.

– Ты хотел с ним поговорить, Олег?

– Хотел.

– К сожалению, он уже...

– Но если его нет, я буду говорить с вами.

И я сказал, что я согласен ехать в кукуевские степи. Согласен вернуться к Громышеву. Более того: я еду туда не один, а с невестой. Два специалиста сразу.

– Олег, да ты просто умница! – вскрикнул болезненный и худой представитель нашей фирмы. Он даже зардел. Его лицо пошло пятнами.

– Но... – сказал я.

И сделал дополнительное сообщение. Сказал, что моя невеста, к сожалению, попала на днях под машину. Для жизни опасности нет. Но нужен гранатовый сок. Икра. Фрукты. Все это должен оплатить Громышев (или его представитель в Москве – мне все равно), если он действительно хочет, чтобы мы к нему поехали работать.

Тощий представитель сразу же стал печальным. Он был хороший человек. И добрый. И делался печальным, если вдруг замечал, что мир не так же прост и честен, как годовалый ребенок.

– Эх, Олег, – вздохнул он.

– Колеблетесь. А Громышев согласился бы.

– Эх, Олег. Может, Алексей Иванович и согласился бы – не спору. Но он бы засомневался: хочет ли действительно девушка ехать с тобой. У тебя очень горячая голова, Олег.

– Вы что же, мне не верите?

Он молчал. Смотрел в сторону. Это был деликатный, порядочный человек. Он всегда был такой.

– Но послушайте, Кирилл Сергеевич.

А он молчал. Затем, глядя куда-то в сторону, тихо прошепестел:

– Знаешь, что сказал Алексей Иванович, уезжая?

– Что?

– Он сказал, что Олег Чагин под тем или иным предлогом обязательно придет просить денег. И наказал: Олегу Чагину – ни копейки.

– Но, Кирилл Сергеевич. Вот вам телефон ее лечащего врача. Позвоните сами и убедитесь.

Он скосил глаза на бумажку с номером телефона. Такие, как он, не выдерживают жесткой игры. Он весь сгорбился, увял. И выписал мне пятьдесят рублей.

– Что? – взвился я. – Это только на икру и фрукты. А на гранатовый сок?

– Олег, мы не миллионеры. Ты сам знаешь, как у нас туго сейчас.

– Жмоты!.. Скряги!.. Я три года на вас батрачил!

И тут случилось неожиданное. Я сорвался. Со мной всякое бывало, но не такое. Нет, сначала я все-таки сдержался. Я даже получил в кассе пятьдесят рублей (в общем-то, это не мелочь). А затем я вернулся к нему. Я весь дрожал от ярости.

– Жмоты! Жмоты! Жмоты!

Я бранился страшными словами. И вдруг оказавшейся под рукой пепельницей – на столике у входа – я запустил в зеркало. Зеркало – вдребезги. Громадное стекло три на два обрушилось вниз стеклянным водопадом. Я кинулся бежать.

А ведь с ним можно было ладить. Он бы и в другой раз помог. Пятьдесят рублей не валяются. Нервы. Я шел по улице и думал, какая это хитрая вещь – психика. Оказывается, после той записки в двери, ждавшей меня, я только сейчас понял, что жизнь Гальки вне опасности и что она будет жить долго и, может быть, счастливо. Мозг мой давно принял этот факт, а психика только что. Дошло.

Я пришел к Игорю Петрову. Он что-то мямлил, молчал, не смотрел в глаза, а я как раз был настроен поговорить.

– Понимаешь, – объяснял я, – денег я больше у них не добуду. Это ясно. А работу нужно найти такую, чтоб они не узнали.

Я был распален:

– Я не могу рисковать. Мне надо найти что-то очень надежное.

– Н-да.

– Честно говоря, я даже не представляю, как я могу зарабатывать в Москве на икру и гранаты. Ведь у меня плюс ко всему – вопрос ночлега! Неужели снимать комнату?!

Я был распален. А он молчал. Что касается денег, он уже дал мне сорок рублей. Более того, дал безвозмездно. Так сказать, для Гальки. Но я никак не мог понять выражение его голубых глаз, когда я упоминал о ночлеге. Если нет – то так и скажи.

И он сказал:

– Видишь ли, – выдавил он наконец. – Пойми меня. Я, Олег, кажется, здорово влюбился.

Я присвистнул – в Вику Журавлеву. Вот это номер. Вот это Вика. Мертвая хватка современной женщины. Милый льняной коми был уже проглочен. На полпути к желудку.

– Вика?! Ха! – но я только весело улыбнулся. Дескать, ого! Я, конечно, знал о кой-каких недостатках Вики. Но, в общем, с чужих слов. И не стал ему говорить. Может, для него луч-

ше Вики нет никого на свете. К тому же у меня был опыт. Когда-то я искренне рассказал другу, что думал и знал о его любимой. Он искренне рассказал ей. Она искренне двинула меня половником, когда разливала суп. По черепу. Сверху. Без предупреждения.

– Так, так. – И я посмотрел Игорю Петрову в глаза. – Значит, Вика уже здесь поселилась. Или она приходящая?

– Олег, – сурово было сказано в ответ, – мы с тобой рассоримся.

– Так, так. – И я поджал язык, потому что поджать язык мне только и оставалось. Я в последний раз оглядел милую комнатку, на которую, честно говоря, я так надеялся. И на которую Вика Журавлева уже наложила свою мягкую лапку. Пантера. Меня здесь не было всего неделю. Свято место пусто не бывает.

* * *

Я потащился к Бученкову. Там была Вика, зато здесь была теща. Но ведь человек всегда надеется, и я тоже надеялся. Правда, недолго. Когда теща мне открыла, я сразу понял, что останусь и переночую здесь, только если ее задушу.

– Я не собираюсь у вас ночевать, – заявил я с ходу.

– Неужели?

– Пустите же меня внутрь. Не знаю, как с вашей стороны порога, а с моей очень холодно. Где Андрей?

Бученков как раз появился. Стоял в дверях, натягивал штаны. Вздремнул после работы.

Мы прошли на кухню. И я рассказал ему, что стряслось с Галькой. Лицо Бученкова стало темным – он даже одеревенел. Сидел как неживой. Он очень меня любил.

– Из-за меня, – добавил я. – Наверняка это с ней стряслось из-за меня.

– Понимаю.

– Такие вот дела.

– Может, тебе уехать к Громышеву, – сказал он. – Может, это как перст указующий. Как сигнал.

– Уехать?.. Я уеду, а она больна?

– Когда ты три года назад уехал в степи, она тоже была больна.

Я промолчал. Это была правда. Горькая правда, такая, что лучше б не вспоминать. Но ведь себя до конца не знаешь. Тогда я многого не знал о себе. Сейчас я уже знал больше и куда больше любил ее. Это ведь тоже правда.

– Тогда ее болезнь тебя мало заботила. Тогда тебя вообще мало что заботило.

– Ну а теперь заботит больше, – огрызнулся я.

Мы сменили тему. Мы поговорили о нас, о наших проказах в институте – дела давно минувших дней. Я проказничал, а ему влетало. И все равно он меня любил. Он был из таких. Из тех, кто никак не может найти дополнительного приработка.

– ...Не устроился на полставки?

– Нет.

– Почему? Сейчас все это делают.

– Не умею. – И он выдал серию вздохов.

– А деньги собираются? (Они копили на кооператив, чтоб уйти подальше от ласки и от лап тещи.)

– Нет.

– Так тебе и надо.

– И когда мы от нее избавимся!

– Терпи, казак, – сказал я. – Но, если хочешь, давай ее задушим. Мне еще в дверях это в голову пришло.

Помолчали. Однако ночевать было негде, и в голове у меня настойчиво вертелся номер телефона. Обращайся к ним в последнюю очередь, говорила матушка. У них доброта, у нас гордость. И так далее. Но я решил счесть это противопоставление за предрассудок, тем более что люди действительно были добрые.

Я набрал их номер.

– Алло.

Бученков в это время уговаривал тещу усадить меня за стол. То есть ужинать. И клялся ей, что ночевать я не собираюсь.

– Алло. Кто это?

Это были не сами родичи – это был их сытенький сын. Сынуля.

– Слушай, ты, – я с этим холеным балбесом никогда не

церемонился, – мать и отец обещали меня прописать, ты это знаешь?

– Слышал.

– Но прописка мне уже не нужна. А еще они обещали, что я буду жить у них. Когда они уедут за кордон.

– Опоздал. У них живу я.

– Они уже уехали?

– Уехали.

Ну, ясно. Ему же тесно в своей однокомнатной квартире. Вдруг придут гости, человек десять? Неужели же ему, бедняжке, тесниться с ними, как в собачьей будке. Как в джонке.

– Но они мне обещали, – накапливал я позиционное преимущество.

– Мало ли что.

– Тогда я буду жить у тебя.

И от неожиданности он не нашел что сказать. Уж если жлоб, скажи, что ты оставил свою квартиру приятелю. Или еще что-нибудь сочини. Но он не сочинил, он просто страдал на том конце провода. Он был и жлоб, и тупица одновременно.

– Если не дашь мне свой ключ, я напишу через посольство отцу и матери. И о том, что ты к ним переселился, тоже упомяну.

– Ладно, – согласился он. – Приезжай.

– Я приеду через час.

– Сегодня?.. Разве тебе негде ночевать?

Он спрашивал. Он интересовался. Он, оказывается, мог рассуждать. Он был на год старше меня, в свои двадцать шесть лет все еще учился в вузе и все никак не мог окончить. Уже десять лет учился, притом ничем не болея и, уж само собой, нигде не работая. В вузике, как говорил он. Крепкий такой Сынуля. Прелесть.

Ужинали в полном составе: Бученков, его измученная сонная жена, его теща и я. И маленький Бученков поодаль в коляске. Жена Андрюхи пыталась сказать мне что-то приятное. Дескать, знаю заочно. Дескать, Андрей говорил о вас много хорошего. И тому подобное. Она хотела быть милой, но ее прямо-таки душил сон. Устает и не высыпается.

Бученков пошел меня проводить. Он спросил:

– Значит, ты будешь ждать, пока Галька выздоровеет?

– Конечно.

Он вздохнул. Скомкал там, в себе, какие-то слова. Потом все-таки решился:

– Олег, ты приходи. Если что, тебя здесь все-таки покормят. Со скрипом, но покормят.

– Ладно.

– Ты смотри на тещу как на комический элемент.

– Я так и смотрю. – Я засмеялся. – Ты сам так смотри.

Он обрадовался поддержке. Вдруг ожил.

– Знаешь, что ей больше всего в тебе не нравится?

– Ну?

– Ты много кладешь в чай сахара.

Сынуля меня не впустил. Он стоял в дверях.

— Держи. — И протянул ключ.

Из квартиры слышалась музыка. И девчачьи взвизги. Разговор получился короткий и жесткий. Он так же любил меня, как и я его.

— Отец и мать уехали месяца на три.

— Значит, и я к тебе въеду месяца на три.

Он сказал:

— Только смотри, чтоб было чисто. Чтоб ни пятнышка на обоях. Понял?

Прежде чем захлопнуть дверь, он некоторое время держал ее приоткрытой. Он считал, что мне очень хочется выпить и порезвиться в их милой компании. И он меня дразнил.

А я был измотан перенасыщенным днем. Я даже не сумел сказать ему какой-нибудь пакости. Насчет его милой компании.

Я добрался до квартиры, ключ от которой был у меня в руках. Я даже ее не оглядел. Сразу уснул.

Глава 6

С утра я пошел на базар – две остановки метро и еще трамвайчиком. Рынок был дорогой. Но хороший: все в наличии.

За гранаты я заплатил безбожно много, но я был к этому готов. Я знал, что такое гранаты, когда вот-вот выпадет снег. У меня болел товарищ еще во времена студенчества. Бученков. И дело тоже было почти зимой. Так что с фруктами я был накоротке.

Я нацелился на одного симпатичного кавказца, но просчитался. Я хотел, чтоб фрукты были регулярно. По дружбе. Я хотел именно подружиться, потому что я не из тех, кто относится к рыночникам с презрением. Рынок – это тоже труд. И труд тяжелый.

Но дружбы не получилось. Кавказец оказался новичком. Он первый раз приехал в Москву. И быстро замерз. И, кажется, меня боялся.

– Холодно, – говорил он. – Очень холодно.

Я постоял около него. Он был мне симпатичен.

– И больше ты не приедешь? Я бы только у тебя покупал.

– Нет. Холодно. Очень холодно.

Погода действительно была будь здоров. Ядреная. Вот-вот разродится снегом. На кавказце была кепка с аэродром. На уши было больно смотреть.

– Ну, до свиданья, – сказал я.

– До свиданья, друг. Холодно. Очень холодно.

* * *

Я отнес Гальке фрукты и икру, которую тоже добыл. Я сделал передачу. А сам внутрь не пошел, потому что не хотел риска. Халат я носил под плащом, и он стал слишком грязным.

Вернувшись, я подбил бабки. Подвел итоги. Попросту говоря, сосчитал деньги и понял, что их мало.

В квартире Сынули телефона не было. Я вышел к автомату. И начал обзванивать всю Москву по цепочке. Звонил и, когда получал отказ, просил совета. И они мне советовали ткнуться в такое-то учреждение, давали номер телефона. Ах так. Большое спасибо... И снова звонил. Я искал работу. Таковую работу, чтоб временно, потому что прописки у меня не было.

Я знал, что такую работу найти непросто. Но я взял себе за правило звонить по организациям каждый день. Что бы ни случилось. При любой погоде и в любом настроении.

Вечером я стирал халат. Впервые мне стало грустно. Я проголодался, но у Сынули на кухне, разумеется, ничего для меня не осталось. Даже макарон не было, хоть шаром покати. Что такое квартира холостяка, я знал наперед. Телевизор и холод собачий. И грецкий орех в пыли под диваном, гнилой,

конечно... Ладно, не гневи Бога, сказал я себе. Не гневи. Ты имеешь жилье. Ты мог его не иметь.

* * *

Ночью я проснулся – нервы. Покурил, чтоб унять голод. Глядел в потолок и прикидывал: не беда. Операция – значит операция. Ничего не поделаешь. А потом – Галька выздоравливает. Я уже не упускаю ее ни на минуту, ни на шаг. И мы вместе едем в степи. Года на два. И когда она беременеет, возвращаемся в Москву рожать. Все правильно... А сейчас надо уснуть.

Но уснул не сразу. Раскочегарил воображение. Да и лежать было жестко.

* * *

Пройти я прошел. Халат мой сверкал ангельской белизной. Но по этажу с самым свирепым видом носилась старшая медсестра, и к палате я подойти не рискнул. Пришлось околачиваться в конце коридора. У дальнего окна.

Я увидел двух женщин и поманил их к себе. Они тут же подошли. Из ее палаты.

– Как хорошо, что вы гранаты достали, – сказала одна.

– Это ж самый гемоглобин. То, что требуется. Галя мор-

щится, но пьет, – сказала вторая.

А первая пояснила:

– Мы давим ей из зерен сок. Пить гораздо легче, чем есть.

– Я и вам куплю, – сказал я, моментально загораясь и чувствуя, что я добрый и что я все могу.

– Не надо. Что вы!

– Куплю.

– А знаете, Галя ведь ничегошеньки не ела. А утром вдруг взяла икорки и на хлеб мажет...

– У нее всегда был хороший вкус.

Они засмеялись.

– Ой! – вскрикнула одна. – Врач.

– Гальке кланяйтесь.

– Да, да. Обязательно.

Они убежали.

Сначала он показался в глубине коридора, а теперь проходил мимо меня. Хирург. Он же – их лечащий врач.

Я рассматривал человека, который будет оперировать Гальку. Потому что оперировать будет именно он – это мне уже сказали. Я рассматривал его боязливо и с некоторой долей мистики. Лет тридцати. Молодой. Длинный и, видно, застенчивый. И шел как-то боком. Руки, конечно, как у громы. Здоровенные. И русые небольшие усы. Усач.

Через час я наконец решился. Вошел. Галька увидела меня – я сел, – глаза ее стали наполняться слезами.

Я сидел совсем близко. Мне было не по себе. Я опять по-

думал, что отчасти из-за меня ее сшибло. Потому что из-за меня она была нервная, там, на дороге, рассеянная была.

Она протянула руку. Достала до моей головы – погладила. Губы ее подрагивали.

– Боюсь, – сказала она. Очень тихо сказала. Об операции. Рука у нее была ласковая и совершенно обессиленная. – Боюсь, – повторила она. И по щекам текли слезы.

Я еле вынес все это. Я ушел и, переходя дорогу за больницей, сам едва не попал под автобус. Скрипнули тормоза, я хотел отскочить – и не смог, не получилось. Колесом мне переехало ботинок. Самый носок. Ботинку хоть бы что, выдержал перегрузки и не поморщился. Дома я увидел, что большой палец ноги стал синим и огромным. Но обошлось.

* * *

У меня уже не хватало сил ждать.

Район, где я теперь обитал, был для меня незнакомый – на углу булочная. И там же кондитерский отдел. И там же продавщица Зина.

Сесть, конечно, негде, только столики. Но кофе отменный. Зина присматривалась ко мне, как ко всякому новенькому. А на меня как раз нашло нечто – волна вежливости и какой-то особой предупредительности. Я сам по себе не был таким вежливым. Но мог быть таким. Обычно это вдруг находило на меня. Как грусть. Или как радость.

– Люблю вежливых молодых людей, – отметила вслух Зина, убирая чашки.

Это было персонально мне, и избалован я таким словом не был. Я даже порозовел. А она улыбнулась, как одержавшая крупную победу.

Было ей лет тридцать, лет на пять меня старше. Толстушка. И к этому в придачу невысокий рост. Кубик. И было видно, что она из тех, кому в жизни везет не очень. А любви хочется. Очень.

Тем же вечером мы столкнулись с ней на углу. Неумышленно. Я подумал, не пригласить ли ее послушать музыку – у меня, то есть у Сынули, был проигрыватель (был и магнитофон, но его он уволок на квартиру к маме и папе). Однако я колебался, приглашать или не приглашать. Что-то меня покалывало. Все-таки Галька. Все-таки операция.

И тогда она сказала:

– Проводи меня.

А я спросил, как ее зовут.

– Зина.

Ехать было далеко – час электричкой. Но Зина с самого начала поинтересовалась, есть ли у меня время. И я ответил: конечно. Конечно есть. Тут был оттенок и вежливости, и щедрости. Той щедрости, что отлично уживается с собственной бездомностью.

Электричка свое дело сделала. Высоченные московские дома (я их тогда звал «грибами»), толпы людей, шум – все

осталось позади. Мы были в пригороде.

– Как тихо! – вырвалось у меня.

Зина сказала:

– А в тех домишках я живу.

– А это что?

– Парк. Или лес. Как хочешь, так и зови.

В глубине леса замаячила решетка – танцплощадка. И музыка. Все честь честью. До чего ж ты хороша, сероглазая, – такая песня. Над площадкой раскачивались лампочки. Были прикреплены прямо к соснам. Поэтично. Это и было то самое место, которого Зина до смерти боялась.

– Хулиганов много. А мне как раз мимо проходить.

Я выпятил грудь и надулся. Я не боялся.

– Потанцуем, – сказал я.

– Что ты!

– А чего?

Мы ринулись в водоворот – мы танцевали, и я гордо поглядывал по сторонам. Трум-бум-бум-американо, – орала пластинка, такая песня. На лице Зины была счастливая улыбка. Ей нравилось. А здоровенную сумку, которую она таскала на работу и обратно, она сумела пристроить в будочке, где крутили пластинки. Сначала мы так и танцевали с сумкой. Получалось как бы втроем.

Если пластинка попадалась дурацкая, мы просто стояли.

– Здравствуй, – кивнула Зина какому-то парню через мое плечо. Затем другому: – Привет, Юрка! – Затем двум вертящимся девчонкам, шер с машер: – Привет!

Свой человек – всех знает. И ясное дело, ее скоро пригласили танцевать. Увели на время.

А ко мне подошел малый:

– Убырался бы ты туда, откуда приехал.

– Ну-ну! – сказал я, наезжая на него плечом.

Мы перебрасывались словечками. Пока как по нотам. А тут случилось неожиданное.

– Друг, – зашептал он, – я тебе по-доброму. Ты понял?

Я не понял.

– Я по-доброму, – шептал он. – Ты с ней не очень. Я как другу тебе говорю. Ты мне, в общем, очень нравишься.

И он исчез. Чудак какой-то.

Я огляделся. И тут же отметил, что Зина, танцуя, переговаривается с какими-то парнями. Они переговаривались и глазами ошупывали мою фигуру.

Все это мне не понравилось. Я был один. За оградой танцплощадки раздавались посвисты. Кого-то между делом били. Местные соловьи-разбойники... Я томился, потом пригласил какую-то девушку. Спросил, как ее зовут. Она сказала:

– А почему вы второй раз спрашиваете?

– Разве второй?

– Да, – она засмеялась.

Зина наконец подошла.

– В чем дело? – спросил я раздраженно.

– Ой, прости. Знакомые и опять знакомые. Пришлось с ними поболтать.

И она понесла какую-то чушь, и я ни одному ее слову не верил.

Мы вышли с танцплощадки.

– Идем туда. К ребятам. – И она потянула легонько меня за руку. Куда-то в темноту. И не идти я не мог. Не так воспитан. Она держала меня под руку – мы шли через кусты, напрямик.

Метрах в ста от площадки стоял столик, вкопанный в землю. И какие-то ящики. И люди самого мрачного колорита. Человек восемь. Лиц в темноте почти не видно.

Спросили:

– Кто это?

– Это он и есть. Это Олег. Это ж я о нем рассказывала, – заворковала она.

Голосок у нее был самый ласковый, сметанный.

Ни звука в ответ. Ни приветствия. Я тоже молчал. Мне налили вина. В стакан – на три четверти.

– Спасибо, – буркнул я.

Прошла минута или две. По-прежнему все молчали. Я закурил.

– Ну, пойдем, – и она потянула меня за руку.

И мы вдвоем пошли. Мы прошли лесок. И теперь пересекали железнодорожную колею. Подозрительное место, думал я.

Была ночь. Поселок спал.

– Зина, – сказал я как можно спокойнее, – а почему мы сошли с электрички на той платформе? Ведь эта ближе...

Она не ответила.

– Ведь эта платформа в двух шагах от твоего дома.

– На этой редко останавливаются, – сказала она.

И вдруг прижалась. Поцеловала.

– Устал?... Сейчас отдохнешь. Только тихо. Наши давно спят.

Она открыла дверь – мы вошли в сплошной мрак. Мы так и не зажгли света. Все ощупью. «Вот стул. Вешай сюда», – шепнула она. От ладоней ее и голого тела шло тепло, как от печки. Потом мы уснули. Внешне я был спокоен, но какой-то страх, видно, пробрался в меня. И сидел глубоко внутри. Потому что среди ночи я вдруг проснулся с сердцебиением – кто-то шел, шаркал. Сейчас он шел мимо нас. Я затаился. Руки мои напряглись. Три... два... один... Человек прошел мимо – в другую комнату. Я тронул ее грудь, ее плечо, но она спала. Или не спала?... Мы лежали под очень теплым одеялом, и сердце мое частило от жары и напряжения.

Опять раздались тихие, шаркающие шаги за стенкой. Прошло минут пять. Где-то далеко свистнула электричка. Я

не дыша встал. Тихо оделся и прокрался к двери. Дверь за скрипела.

– Куда? – раздался бас.

Но я уже вылетел в ночь. Ночь была теперь не черная, а чуть серенькая. Я бежал по косогору вверх. А вдалеке неслась электричка. Я уже понял, что успею, я только не знал, в Москву ли она. И станет ли?

Я влетел в вагон – ни души. Было холодно. Я натянул плащ, который комком держал в руках. Завязал шнурки ботинок. Закурил.

* * *

Испуг вскоре прошел. А страх остался. И я не мог понять, в чем дело, до тех самых минут, пока не настало утро и я не позвонил в больницу. Вот что меня грызло. Я спросил, будет ли операция, сегодня назначена операция. И мне без промедления сказали:

– Да.

– И не отменили ее? Не перенесли?

– Не отменили.

* * *

Меня трясло. Такого со мной просто никогда не бывало.

Я, скажем, говорил по телефону, и у меня получалось примерно так:

– Зд-д-д-дравствуйте.

А звонил я по поводу работы – в то утро мне как раз повезло, я нашел работу. Внештатную и оплачиваемую. То, что нужно. А ведь я и звонить-то пошел в то утро лишь по выработавшейся привычке. Меня трясло, и я еле попадал монетками в щель.

– И п-п-приступить я, вид-д-димо, м-м-могу завтра? – выстукивал я зубами.

– Да. Пожалуйста.

Заика я или нет, их не волновало. Работа была связана с техническими текстами. Из иностранных журналов. Перевод. И не столько сам перевод, сколько его толкование применительно к конкретной теме. Это у них называлось «теоретической выжимкой». Меня это и вовсе устраивало, потому что я мог делать дело где угодно. Хоть в метро. Хоть на улице. Хоть в больничном коридоре. Раз в две недели относить переведенные тексты в НИИ. Раз в две недели получать за это деньги. Небольшие, но все же.

А убивало меня – совпадение. И надо ж так, что я нашел работу как раз сегодня, когда оперируют, в этот же день, в это же самое утро. Удача, но не за счет ли Гальки?.. Тут поневоле станешь мнительным.

– Мама, но ведь я звоню тебе каждую неделю – по-моему, это не так уж редко.

– Неужели нельзя выкроить двух-трех минут...

– Не получается.

Она вздохнула. Она, как всегда, хотела письма.

– Может быть, ты подружился с какой-нибудь девушкой?

– Если подружусь, я обязательно тебе напишу.

Она опять вздохнула:

– Ты, Олежек, у меня мальчик неглупый. Но старомодный мальчик...

– Какой уж есть, мама.

– Уж очень ты робок с девушками. И вообще с людьми – слишком уж ты робеешь. (Матушка верила в это свято и неколебимо.)

– Природу не переделаешь, мама. – Я вздохнул.

– Застенчивость сейчас не в моде, Олежек, – ты больше шути, больше смейся. Ладно?

– Постараюсь, мама.

– Девушки это любят.

И тут же она воскликнула. Радостно. Звонко:

– Иди... Это Олег... Это Олег звонит... Как удачно!

Я понял, что сейчас буду говорить с двоюродным братцем Василием. О смысле жизни. Потому что о чем же еще мож-

но говорить с десятиклассником, который сотворил из тебя кумира. Сотворил на расстоянии. Питаясь рассказами моей матушки.

– Здравствуй, Олег, – сказал малюточка басом.

– Привет.

На большее его не хватило. Замолк. Онемел как рыба.

– Ну как дела? – Я принялся его тормошить. – Чем занят?

Он молчал.

– Что сейчас читаешь?

– Изучаю теорию множеств.

– Это славно. Это сгодится.

– Что вы мне посоветуете, Олег, – не выдержал, перешел на «вы», – в общем плане моего развития?

При таких вопросах спрашивающий сильно и глубоко потеет. Я подумал и ответил: солидности.

– Чего?

– Солидности. Ученый должен быть прежде всего солиден. И непременно – режим дня.

– Режим – понимаю... Но не всегда выдерживаю.

– Плохо.

– Но я буду стараться.

– Непременно. Наука требует огромной отдачи. Наука забирает человека целиком. С потрохами.

И так далее. И так далее.

Глава 7

Но я проскочил. У меня так частил пульс, что я боялся попросту где-нибудь упасть. В мозгах тикало, как в апрельскую капель. А они, медбратья, стояли в дверях – в белых халатах. Почему-то вдвоем. Рагулин и Лутченко. Ну, быки, думал я, держите меня крепче. За это вам платят.

Прорвавшийся, я долго блуждал по этажу – тыкался и заглядывал, как слепой щенок. Спросить я не решался. И наконец – сам увидел. Ее везли на каталке. Не торопясь. Операция только что кончилась.

– В какую палату? – спросил я. Голос мой выдал нечто хрипловатенькое и тусклое. Будто я год перед этим провел в молчании. – В какую? – переспросил я.

На меня посмотрели, как на совсем глупенького. Сестра сказала:

– В послеоперационную, конечно. А вы кто?

Но я уже был далеко.

Одним духом я нырнул на этаж ниже. Пробежал коридор. И опять вверх – вынырнул. И теперь они должны были еще раз пройти мимо меня. Вот они. Две сестры толкают каталку. Усатый хирург сзади. Облизывает усы. И еще кто-то – целая бригада.

Галька лежала, выставив к потолку подбородок и голую шею. Под наркозом. Голова покачивалась от движения ка-

талки. Глаза закрыты – две тоненькие щелочки синевы, больше ничего. Лицо как мел. Не Галька.

Теперь был нужен простор. Пространство. Меня что-то душило и давило. Я вошел в уборную, заперся, распахнул окно – и вывесился наружу, сколько мог. Я дышал. Меня обдавало холодом. Был виден большой кусок неба.

* * *

Я все-таки подошел к усачу, когда опять увидел его в коридоре. Как-никак он после операции. Малость чокнутый. И не станет спрашивать, кто я. Не сдерет с меня мой белый халат.

– Прошла успешно, – ответил он.

– И это уже определено? – Я спросил еще раз, получалось несколько назойливо, но мне плевать.

Усач улыбнулся. Очень скромненький. Скромняга. Ей-богу, лет тридцать. Не больше.

– Определенно – будет завтра. Или послезавтра, – сказал он.

Я спустился вниз.

В вестибюле гудел народ. Никого не пускали. Сегодня было здесь что-то особенное. Я вдруг увидел мужа Гальки.

– Привет.

– Привет.

Это у нас обоих вырвалось, от неожиданности. И тут же

оба осеклись – сообразили, что к чему. И стояли оба подчеркнуто спокойные. Каренин и Вронский. А она – в опасности. Только наоборот: красив был, пожалуй, Каренин. А Вронский был в белом больничном халате и держал свернутый в трубочку лист бумаги (этот лист я брал с собой для пущей представительности).

– Операция закончилась. Кажется, успешно, – сообщил я.

– Знаю, – кивнул он.

У меня не лежала душа с ним контактировать. Если б не такой день, я б и разговаривать с ним не стал.

– Откуда у тебя халат? – спросил он.

– Какая разница!

– Разницы никакой. Просто спросил. Теперь и в халате не пускают.

– Почему же?

И тут выяснилось, что в больнице объявлен карантин. Что по Москве прокатился грипп. Сезонный.

– Ты не знал? Ты где живешь? В безвоздушном пространстве? – И Еремеев мягко улыбнулся.

Он потопал к появившейся нянечке. От Гальки записки быть не могло, но он все-таки потопал. Нянечку обступили, как знаменитость, спустившуюся с самолетного трапа. Шум. Гвалт. Нянечка выдавала ответные записки. Карантин. И у дверей стояли два быка в белых халатах. Скрестили руки.

Я уже собирался уйти из этого шума и гама, но вдруг отыскался еще знакомец.

Он тронул меня за плечо. Рожа как рожа. И сначала я подумал, что он ошибся адресом. Не в ту степь. Потом я подумал, что видел его, пожалуй, во сне – в одном из кошмаров, когда я ночевал на вокзале.

– Узнаешь, друг? – спросил он.

И только тут я узнал. Это был он – непросыхавший. Сосед коми. Тот, который двинул меня в челюсть.

Он сказал, как выдохнул горе:

– Жена у меня тут. (Звучало так: жана).

– Что с ней?

– Руку сломала.

– Как же так?

Он замялся.

– Упала? – спросил я.

– Упала.

– С твоей помощью?

Он насупился. Вздохнул. Еще раз вздохнул. Думал какую-то думу.

– Проведи меня внутрь, – попросил он.

– Я?

– Посмотреть на нее очень хочу. У тебя ж халат. В халате пустят. Дай мне его.

– Шутишь...

– Почему «шутишь»?

– Да потому, что не стану я рисковать халатом.

– Я ж только спросил... Нет – значит нет.

– Мне самому сюда ходить месяц, а то и два. А то и больше. Не могу рисковать.

Он молчал. Опять думал. Опять выдал вздох с самого дна колодца.

– Понимаешь... Как бы тебе сказать...

– Ну?

– Она ласковая. А я как выпью, мне этот Шариков мерещится.

– Кто это?

– Да так. Мужичонка... Мерещится по пьянке. А кулачищи у меня видишь какие и машут сами собой. Мы ведь врачам ничего не сказали. Сказали, что упала.

Он был прост. Он не лгал и не вилял. Он был немного пьян и здорово сражен горем.

– Дай, – он опять просил мой белый халат. – Дай...

Я молчал.

– Дай...

– Бог подаст.

Я вышел и на углу больничного здания вытащил из водосточной трубы плащ и беретку. Плащ надел прямо на халат. Мимо шла женщина. Смотрела, как я отряхиваюсь.

Я шел не разбирая дороги.

Район был незнакомый. Дом, и еще дом, и снова дом. Я видел Гальку – она лежала на каталке с белым как мел и грубым лицом. Баба. И закрытые глаза. Узенькие щели синевы под веками.

Не хнычь, говорил я себе. Это любовь. Это и есть любовь. Поэтому у тебя и руки трясутся, и в глазах поэтому. Вот именно. Живи и тихо-тихо жди. А если не хватает терпения, можешь пойти на Крымский мост и прыгнуть вниз.

* * *

В некоторых своих деталях жизнь стала однообразной. Утром – базар, потом – больница. Икру и красную рыбу я доставал в ресторане. Забегал туда на пять минут. Ну, на десять. Официант не желал отпускать оптом. Так и приходилось – соскребать икру с бутербродов, а рыбу брать порезанную ломтями.

– Видишь, как приходится выкручиваться, – корил я официанта, сгребая икру ножом.

– Ничего не знаю. Не положено.

Я с ним не спорил – я сгребал. Деньги нужны. И тогда все будет положено и уложено. И завернуто. Деньги – а вот денег-то у меня мало.

А к вечеру я вдруг встретил Игоря Петрова.

– Привет! – заорал симпатичный коми. На нас оглядывались. А он шумел и совал мне какие-то листы. – Я здорово продвинулся. Станок будет чудо!

– Пошел ты со своим вонючим станком! (У меня и так голова болела.)

– Но ты хоть глянь, что я сделал.

– И не подумаю.

Мало того – я еще поперся к нему домой. И мы болтали до глубокой ночи. А за стенкой без конца жаловался сам себе на жизнь непросыхавший.

– Вы прекрасно сработались, – иронизировала Вика Журавлева.

Она была тут как тут – вдруг появилась ближе к ночи. Она жарила нам яичницу и держалась полноправной хозяйкой. Она не смущалась меня ничуть. Держалась спокойно. А если б я заикнулся о кой-каких ее студенческих похождениях, она просто проломила бы мне голову сковородкой. Уважаю таких. Женщина. Она накормила нас отменным ужином, а в два ночи, когда мы уже явно засиделись, выставила меня вон.

Мне до тоски зеленой не хотелось тащиться куда-то в ночь. Не хотелось быть в одиночестве.

– Знаешь, я, пожалуй, переночую у вас, – сказал я.

– Нет-нет, – сказала Вика.

– А что такого? Я постелю на полу. Я неприхотлив.

– Зато я прихотлива.

И она выразительно посмотрела на меня. Не желала спать втроем в одной комнате. Ее серые глаза были как сталь. Как закаленная сталь. Я сделал вид, что не понял. Я как раз бросил свой плащишко на пол. Вот, дескать, и постель. Она подняла плащ, встряхнула и надела мне на плечи. Уважаю таких.

* * *

Я шел ночными улицами, и на душе была какая-то собачья тоска. Ни фонари ночные не трогали. Ни небо. Ни высокие дома. Я шел выжатый как лимон. И никому не нужный.

Ну-ну, говорил я себе. Это на тебя не похоже.

* * *

В этот раз мне повезло. Фрукты были великолепные. Груши как закат. Золотисто-багровые, они таяли от взглядов. Оглядывались на них все, у кого были глаза.

Прошел в больницу я просто лихо. У Сынули, в ящиках, я нашел случайно рентгеновский снимок его нижней челюсти. Снимок довольно крупный – и вот несколько чистых листов, свернутых в трубочку, а сверху этот снимок, тоже в трубочку. И все это в моей руке. И сам я в белом халате. Мелочь. Мазок. А какое внушает доверие!

В послеоперационную мне, конечно, проникнуть не удалось. Но я побывал в той палате, где Галька лежала накануне. Одна из женщин этой палаты уже навещала Гальку – и теперь я допытывался:

– Ну и как она?

– Слабенькая.

– Пьет? Ест что-нибудь?

– Сама не пьет – ее поят. Руки у нее слабые. Давят сок и поят ее.

– Но хоть немножко лучше?

– Лучше. И говорить стала. Шепотом, а все-таки говорит.

И она мне улыбнулась. Гора с плеч. Я не удержался – поцеловал ее и помчался прочь. И слышал, как она засмеялась вслед.

В вестибюле опять был невообразимый галдеж, потому что опять никого не пускали. Ко мне подошел Еремеев. Муж Гальки.

– Здравствуй, – очень солидно сказал он. – Спасибо тебе.

– За что?

– За фрукты.

– Разве Галя половину их посылает тебе? Я об этом не знал.

– Не хами.

– А ты забери свое «спасибо». Спрячь, откуда взял.

Он отвернулся. Я тоже. Я не хотел лояльности, от которой так или иначе за километр несло бы фальшью. Я ему не мил дружок. Я не мог бы стоять с ним рядом и обсуждать («Правда, хорошие груши?» – «Чудесные». – «Рынок есть рынок. Но какие цены ужасные!») – не мог я обсуждать и даже покупать с ним вместе не мог.

Вернулась старуха с корзинкой, в которой разносила передачи. Записки не было ни Еремееву, ни мне. Надо сказать,

Галька вообще не писала записок. Ушла в себя. И за это я тоже ее любил.

Дома я кое-как перекусил и отправился продавать проигрыватель Сынули. Все-таки родич. Может, и поймет... В комиссионном магазине не взяли – там было полно этого добра, к тому же лучших марок. В тихом соседнем ателье техник предложил мне за него две красненьких.

– Двадцать пять, – попробовал я лед.

– Двадцать.

Я согласился. Я был совсем на мели. Еще раз мне попадутся груши, похожие на закат, и я пойду хромать с протянутой шапкой по электричкам.

* * *

– Проходите, – сказал я.

И они сразу устремились к шкафу в углу. Старинная работа. Вещь что надо. Их было двое – мужчина (так себе, больше суетился) и женщина. У женщины и глаз, и ум, и хватка. Даже многовато было для одной женщины.

Понятие о ценах на старинные шкафы я имел самое отдаленное. Я попросил, чтобы она сама назвала цену. Она попросила назвать меня. И пошло, поехало. Я честно боролся, но, ясное дело, этот пират в юбке меня облапошил. Я попытался к ее цене набавить сотнягу. А она вдруг сказала:

– Ладно. Грех пополам.

– Не понял.

– Не сто, а полста набавлю.

И тут же крикнула своему мужичку:

– Иди найди машину.

– Ладно. – Он побежал.

– И чтоб шофер согласился помочь! – крикнула она вдогонку.

Я спросил, не купит ли она еще что-нибудь. Она прошлась по комнате. Потом прошлась по кухне. Вернулась.

– Нет. И вообще у вас больше никто ничего не купит.

Я невольно поежился под ее взглядом – вот это глаз. Мне казалось, она видит даже чернильные пятнышки на моей майке: под рубашкой, со стороны спины.

– Никто не купит?

– Все это есть в магазинах. Полным-полно. И новенькое. Может быть, купят у вас кухонные колонки. Но это не обязательно.

– Скажите, – спросил я, – если придут за колонками, за сколько их можно продать?

Она сказала. А я сказал ей спасибо. Я всегда благодарен людям за ясность.

Управдом не попался ни на лестничных клетках, ни во дворе. Все прошло гладко. И машину они подогнали не какую-нибудь, а мебельную. Перевозка мебели населению. То самое, что надо. Шкаф уехал в неизвестность, как и положено уезжать проданным шкафам. Деньги лежали в кармане.

К вечеру купили кухонные колонки. Больше ничего не купили. Спасибо на том.

Я подумал, не сорвать ли теперь мои объявления на столбах. «Продается мебель (разная) в хорошем состоянии». Объявления я развешивал самолично. Писал тоже сам. Бродить от столба к столбу и срывать эти белые бумажки я не стал. Столбы стояли мокрые, начал падать снег, и я решил, что мокрый снег свое дело сделает. Доделает ветер.

А затем со снегом и ветром я стал накоротке. А они со мной. Я где-то ночевал. Где-то ел. Все перепуталось. Время утратило свойство последовательности и стало прыгать, как разыгравшийся кот, – туда-сюда. И я не помню, что шло за чем. Но помню, что везде был ветер. И везде был снег. Зима.

В бродячем и бездомном существовании очень хорошо понимается, что жизнь слишком коротка и такой она была задумана с самого начала. Прекрасно была задумана. Без иллюзий. И доходит это до твоей души само собой. Особенно если мерзнут ноги. Это не шутка.

Однажды замерзшие ноги привели меня к нашему институту. Так и есть. Никаких перемен. И справа – корпус общежития. Альма-матер. Место, где я жил и учился.

– О господи! – вырвалось у меня.

Глава 8

Проходная общежития, как и всякая проходная, складывалась из двух движений – туда и обратно. На повышенных скоростях.

Я стоял и курил. Около.

– Эй, привет! – Я увидел знакомое лицо.

Он приостановился. Еле-еле узнал меня. Когда я был на пятом, он был на первом. Нет, на втором. Играли в баскетбол в одной команде. Или Витя, или Митя.

Оказалось – Олег. Как и я. В команде его звали Олег-два.

– Да постой, – удержал его я, – не беги. Проведи-ка меня в общежитие.

– Идем. – Он пожал плечами. Лицо его радости не выразило. Ничего не выразило.

Вдвоем легче пройти мимо вахтера, в студенческом общежитии это знает каждый. Привет – привет. Вахтер новый. Доска объявлений новая. Я надеялся, что хоть жизнь старая. Ан нет – жизнь, видно, тоже переменилась, потому что Олег-два очень уж доходчиво и современно сказал:

– Что-то у тебя вид голодный.

Он повторил и при этом не оглядывал меня с головы до ног. Он успел оглядеть меня раньше.

– Что-то у тебя вид голодный.

– И холодный тоже, – сказал я. – Я ведь иду погреться.

Буду у тебя ночевать.

Он улыбнулся куда-то в четырехмерное пространство:

– Может быть, будешь. А может быть, не будешь.

И, подержав паузу в воздухе, добавил:

– Как ребята посмотрят.

Ваньку валяет. Не верю. И ни за что не поверю. Первейшая мысль: а почему, собственно, я ДОЛЖЕН тебя приютить? Обыватель особенно нажимает на это ДОЛЖЕН. У него аж сердце щекотится от этого словца. Я таких очень хорошо запоминаю. А они меня.

Когда мы в свое время встречали «старичка», мы не рассуждали. Мы просто вели его в общагу, а там говорили. Так, мол, и так. Ребятишки, придется вам потесниться. Ребятишки чертыхались. И теснились... Конечно, если б я приволок с собой ящик пива, меня и сейчас бы приняли веселее. Если бы.

– Ты откуда?

– Удрал. Строили полигон. А я не выдержал.

– Удрал со строительства полигона? – Он даже присвистнул.

Мы поднимались на этаж. Так и надо – красиво солгать. Я прямо-таки вырос в его глазах.

Теперь моя потрепанность была не в укор. Была в плюс, а не в минус.

Мы вошли.

– Ребята, он кончал наш институт – помните его? – Ребята

что-то промычали и потеснились. Их было четверо в комнате. Как и нас когда-то.

Вечером я им рассказывал, как строятся полигоны. Мне постелили на полу. Я лежал на спине, глядел в потолок и рассказывал; было чуть дымно – в темноте двигались их руки с огоньками сигарет.

– А как оклад? – Весь этот треп их очень интересовал. Потому что выпускники. Им вот-вот предстояло распределение. Более того: распределение, оказывается, уже началось. И слово «оклад» они произносили не просто так.

– Началось? – удивился я. – У нас распределение начиналось только в апреле.

– А у нас заранее.

С утра они ушли учиться. К обеду я заскучал и пошел бродить по общежитию. Общага не переменилась. Те же ковровые дорожки. Те же огнетушители. Та же дежурная по этажу с единственным карим глазом. Она мне улыбнулась. Сказала, что помнит меня. Как же, как же. Сказала, что помнит и меня, и моих товарищей. Сказала, что отлично помнит. Но так и не вспомнила.

Я увидел кактусы. Тут мы сиживали с Галькой. Ладно, сказал я себе, не вздумай хандрить. Если тебе хочется скулить, то каково тем, кто кончил вуз десять, а то и двадцать лет назад. Тогда им волком выть. Или в окно выпрыгнуть. Как Колька Канавин. Был такой: бедолагу застучала дежурная у девчонки в комнате – и тарабанила в дверь. Колька по-

лез в окошко: он думал, что у него вырастут крылья. От большой любви. И он не грохнется с седьмого этажа, а спланирует на газон с желтыми головками одуванчиков. Этих одуванчиков было тогда видимо-невидимо. Была весна.

В столовой я обедал и специально вглядывался в лица. Но знакомых не было.

Вечером я спросил у ребят:

– Слушайте. А где ваш Чиусов? (Я долго вспоминал его фамилию, когда обедал, – и вспомнил.)

– А-а, – небрежно сказал Олег-два, – болтун этот. Его давно выгнали.

* * *

А Чиусов был болтун интересный. Не просто так. Худющий и хлипкий парень с запущенными пшеничными волосами. Мазал их зачем-то бриолином, от которого со временем шла вонь.

Он был первокурсник, а мы уже кончали. И конечно же, ему было трудно в спорах с нами. Первокурсники вообще к нам носа не совали. А он лез. Не мог без этого. Таким и запомнился. Ничего не скажешь, боец был, отчаянный был спорщик. Ему, может, грамма какого-то не хватило, чтобы прослыть пророком.

Помню, он утверждал, что мы должны бросить науку и уйти из нее. Ни больше ни меньше. Уйти из науки.

– Выпей воды, – говорили ему. – Выпей водицы.

И все смеялись.

А Чиусов (по прозвищу «чушка», он и правда был грязноват) не смущался, гнул свое. Наука, говорил он, была хороша во времена Галилея. Когда ее преследовали. Тогда это были гении. Это были личности. Человеки. А сейчас их нет в науке. Разумеется, они славословят друг друга. Возвеличивают. Поют дифирамбы. Но все равно личностей там нет. Стандартно обученная, безликая, однообразная и продажная толпа. Вот что такое наука сегодня. Так он говорил.

И люди в этом не очень виноваты, пояснял Чиусов.

Просто наука свое сделала. Снесла яйцо. И больше в науке настоящей личности делать нечего.

– Куда же нам, бедняжкам, теперь деваться? – спрашивал кто-нибудь.

И Чиусов отвечал:

– В и-ис-искусство.

Произнося это слово, он почему-то каждый раз заикался. Он заявлял, что именно художники в наши дни становятся прозорливыми и, стало быть, смущающими всех, как Галилей. Только ис-ис-искусство глядит сейчас в глубь глубины. Начинается новая эра. Эра искусства.

По утрам Чиусов имел вид самый жалкий. Весь выложился в ночном оре. Иссаяк. Утром он шел и пошатывался, будто наглотался таблеток, – шел с полузакрытыми глазами. Выжатый и пустой.

В таком вот виде он тащился на занятия. Однажды среди лекции он вдруг забрел к нам – к пятикурсникам. Ошибся дверью. Наши студяры страшно оживились.

– Чушка! Чушка! – орали со всех сторон. – Иди к нам! Садись! Мы все пойдем в искусство!

Чиусов сонно и долго смотрел на нас. Потоптался. Кое-как до него дошло, что не туда попал. Он развернулся и ушел – искать своих.

В перерыв мы опять на него наткнулись. Он так и не нашел, где идут занятия. Он забрел в закуток уборщицы и спал там на старых стульях.

Но мы любили его. Мы смеялись, но мы всегда его выслушивали. Пускали к себе. А таких, как Олег-два и его компания, мы и близко не подпускали. Уже тогда они были для нас не свои. Сладковатые, но не больше того. Как неспелый горох. Вечно зеленый.

Впрочем, может, вся штука в том, что они меня кисло приняли. Без размаха. И брось на них капать, говорил я себе. Не брюзжи. Смотри веселее. И расскажи-ка им, как устанавливаются на полигоне ракеты в зависимости от цвета боеголовок. Пусть ловят каждое слово. Пусть внимают.

* * *

С утра у них был разговор с представителями – так называемое предварительное распределение. Я тоже отправился

с ними. Потолкаться.

А готовились они не меньше часа. Очень тщательно. Вся четверка была при галстуках. Олег-два сиял, как солдатская пуговица.

– Как мы глядимся?.. А? – спросил он звонко.

Мы как раз проходили мимо большого зеркала. Отразились в нем.

Я ответил, что они глядятся просто блеск.

– Товар надо предлагать в хорошей упаковке! – пояснил Олег-два. Держался просто потрясаяще. Знал себе цену. Я чуть не свихнулся, глядя на них. Не понимал. Не ожидал, что за три года чувство упаковки так здорово подпрыгнет. Чувство моды и чувство хорошей одежды.

Разговор с представителями происходил в просторном холле. Была толпа. И был порядок. Были аккуратные столики с табличками. На табличках надписи организаций. «НИИ-7, ПОДМОСКОВЬЕ». А рядом: «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО. СВЕРДЛОВСК». И так далее. НИИ и КБ... На столиках были стопки чистой бумаги. Очиненные карандаши. Как в лучших домах.

Мои галстуки разбрелись меж этими столиками. Я нет-нет и подходил к ним – прислушивался. Ребята ругались всюю. Отспоривали себе место под солнышком. Прощупывали не только какая работа, но и какая жизнь. Сражались за каждый квадратный метр жилья. За каждые десять рублей в зарплате.

– У-у-у-у... А-а-а-а... Гу-у-у-у, – гудели голоса.

Я вдруг замер на секунду. Я стоял посреди рынка. Вот именно.

– Ты куда? – спросил я, увидев стремительно вышагивающего Олега-два.

– Я?.. В туалет.

Я зашел с ним за компанию. Я пошел к писсуарам, а он к ним не пошел. Он пошел к зеркалу. Вытер вспотевший лоб, причесал волосы. Поправил белый уголок платочка, который глядел из кармана. Поправил – и вышел. За этим и приходил. Проследить, как товар упакован.

Из стадности я тоже посмотрелся в зеркало. Лучше б я этого не делал.

– Ну как? – В коридоре ко мне подлетел один из галстуков.

– Что «как»? – спросил я.

– Ч-черт!.. Ошибся!

Он круто развернулся – метнулся – и тут же прикипел сердцем к представителю какой-то солидной военной организации.

– Товарищ подполковник, товарищ подполковник... Ну а через год вы можете обещать квартиру?

Я слушал и говорил себе: не брюзжи... Мальчики идут зубастые. Еще более зубастые, чем ты. Очередное поколение, вот и все. Знают, что почем. Не дадут себя в обиду. Ты им просто завидуешь. Вот и заткни фонтан.

Я увидел еще одно знакомое лицо. Тоже из их выпуска.

– Привет, – сказал я.

– Привет.

Мы постояли. Поулыбались друг другу. Говорить было не о чем.

– Слушай, – спросил я, – а что ваш Чиусов? О нем было что-нибудь слышно?

– Нет. Ни звука.

– Так и исчез?

– Так и исчез.

Я хотел подробнее расспросить о том странном неопрятном пареньке. Как будто среди этой деловой толпы вдруг захотелось на секунду его, неделового, увидеть. Кольнуло что-то. Я хотел расспросить о нем, но спросить было некого. Этот уже исчез. Ему было не до меня. «А-а-а-а... У-у-у-у», – гудели голоса под сводами холла.

* * *

Я увидел Рябушкина – конечно же, он тоже был здесь. Громышевский представитель, крепыш с золотыми зубами. Вид у него был явно нерадостный. Ловец человеков. А сети-то плохонькие и уж совсем несовременные.

– Привет, – сказал я.

Мы все равно шли друг на друга – не убегать же.

– Здравствуй, Олег.

– Ну и как? Кого заманили?..

Он спешно выпятил грудь и придал себе более или менее процветающий вид. Дескать, ловим. Дескать, кое-что в сетях имеется.

– Понемногу ловим, – ответил он с важностью.

– Да неужели? – засмеялся я. – Из нашего выпуска вы смогли уговорить всего-навсего пять дурачков. Таких, как я. Недоделанных. А из этих деляг вам ни одного не заарканить...

– У меня есть фамилии – даже несколько отличников есть.

– Бросьте!

– Ей-богу, Олег.

– Знаете что?.. Даю совет. Вы им намекайте – туманно, конечно, – будто вы строите ракетные базы. Может, один-другой клюнет...

И вот тут-то он прямо на глазах погрузнел и сник. Видимо, именно так и намекал. Но не помогло. Не на тех напал. То-то.

– В одном ты прав, Олег. Ты был наивнее и лучше, чем они.

– Да ну? – засмеялся я.

Но теперь он, в свою очередь, меня рассматривал. И исследовал.

– А как ты, Олег?

– Я?.. Замечательно!

Он оглядел меня с головы до пят.

– Замечательно! – повторил я.

Но он так же мне поверил, как и я ему.

– А ведь нам есть что вспомнить, Олег. Мы хорошо жили.

Верно?

И он, можно сказать, подарил мне вздох. Я промолчал.

– Не собираешься к нам вернуться?

– Нет.

– Жаль... А Горчаков болен, ты слышал? Он хотел тебя видеть зачем-то.

Горчаков – это был Кирилл Сергеевич, второй представитель. Тот, который высокий и болезненный. Который выделил мне полсотни рублей на гранатовый сок.

– Как он сейчас?

– Плох.

– Ну пока. – И тут у меня тоже вздох вырвался. – Алексей Ивановичу привет.

То есть Громышеву. Как-то вдруг вырвалось. Само собой.

– Спасибо. Между прочим, он тебе письмо отправил.

Уже с расстояния я крикнул:

– Не получал.

Вечером выпускники вернулись умиротворенные, каждый из них полупродался в два или три места и теперь имел в запасе несколько вариантов, где жить и работать. Несколько вариантов счастья. Они были довольны. Сняли галстуки. Легли. До трех ночи они обсуждали и перебирали. Олег-два вставал и пил холодную воду, от волнения.

Я то просыпался, то засыпал.

У Громышева я вкалывал, как лошадь. Я отвечал за энергопитание, за передвижные станки и насосы, за планировку и за артезианские колодцы. Специалистов не было. И как инженер я, конечно, здорово там вырос. Стал профессионалом хоть куда. Потому что нет худа без добра, а добра нет без худа. Три года на износ. Как сказал золотозубый коротышка, есть что вспомнить.

* * *

В больнице на этот раз получилось не совсем складно.
– Ты что же это, родной, – ядовито сказала старуха с передачами.

Мои груши и яблоки лежали в левом углу ее огромной корзины.

Мы столкнулись на этаже. Возле самой палаты.

– Я таскаю твои посылки, а ты, оказывается, и сам тут.

– Тсс, бабуся.

– Чего это «тсс»? Ты думаешь, у меня руки колхозные?

– Я врач, бабуся, – залепетал я, стараясь потише. – Я врач, и ты не имеешь права...

– Какой ты врач! – махнула она рукой и, даже не дослушав, пошла по палатам. Наметанный глаз. Ведьма.

А получилось вот как – тот самый, непросыхавший вцепился в меня как клещ. И в голосе нищенство:

– Проведи, а?

– Бог подаст, – отмахнулся я.

– Проведи...

И я провел.

– Он со мной, – сказал я на входе и помахал листками и рентгеновским снимком, свернутым в трубочку. Это был риск. И немалый. Я провел, но сгоряча и наскочил на старуху с передачами. Пока обошлось. Однако это уже было как предупреждение свыше.

Глава 9

Кстати. Когда я провел непросыхавшего, мне невольно пришлось стать свидетелем сцены. Пришлось послушать, как эта милая пара занимается семейным воркованьем. Дело было на лестничной клетке больничного этажа. Ее звали Олюшкой, его, то есть непросыхавшего, – Петей. Мы стояли втроем. Я выглядывал в дверь, но в коридоре околачивалась старшая медсестра. Я был отрезан. Я ждал и томился.

А семейная сцена все длилась. Олюшка была в вылинявшем больничном халате. Она говорила мужу. С нежностью: – Ведь ты и сготовить себе не можешь... Родименький мой. Бедненький.

Петя ей отвечал. С мрачностью:

– Ты тут смотри. В больнице почти каждая баба роман крутит.

Я добавлял:

– Это точно. Особенно если у нее поломана рука и шея набок.

Олюшка сказала:

– Не подсмеивайтесь над ним, ради бога. Он расстроен. Он это от одиночества. Он себе даже щец сварить не умеет.

Петя сказал:

– Все они такие. Они ведь с врачами кадрятся. Напропа- лую крутят.

Я спросил:

– Я понимаю, что ты сломал ей руку. Дело семейное. Но как ты ей шею умудрился свернуть?

– Я ее только толкнул. Я ж не знал.

– Не слушайте его – я сама упала. А это он от голода так говорит. Он ведь почти ничего не кушает.

Вот так мы беседовали. Как бы трио исполняли. Струнное задумчивое трио.

– Я только толкнул – я ж не знал, что она упадет.

– Значит, в операции «Шея» ты почти не участвовал?

– Я сама упала. Бедненький. Совсем не ест.

– Неужели он сам щей сварить не умеет? – спросил я.

– Нет...

– Лодырь он у вас. Придурок. И пьянь.

– Что вы!.. Он такой у меня, в общем-то, мальчик. Беспомощный. Голодный... Иди сюда, родной мой, – бедная женщина совсем растрогалась и уже не сдерживала слезы.

– Чего тебе? – буркнул ей он.

– Подойди к ней. Зовет же, – прошипел я.

– Только не задень гипс, родной. Боль адская.

– Не задену.

Она целовала его. Она ласково и неторопливо целовала его. А я поминутно высовывал нос в дверь. Выглядывал.

Наконец медсестра куда-то исчезла. Я быстро пересек коридор. Зайти в палату во время карантина (занести инфекцию) значило лишний раз испытывать судьбу. И я не стал ее

испытывать.

Когда проходил мимо палаты, в приоткрытую дверь я разглядел Гальку. Я шел медленно.

Я увидел ее лицо – она меня не видела. Она что-то негромко говорила. Губы ее шевелились. Я видел ее одну-две секунды. За этим приходил.

* * *

Вечером произошла встреча из неожиданных. На улице. Мы столкнулись нос к носу.

– Зина? – Я был удивлен.

– Здравствуй.

Мы помолчали. Потом она сказала тихо, с укоризной в голосе:

– Что ж ты убежал среди ночи?

Я еще помолчал.

– Убежал, как вор. Ни слова не оставил... Дедушка сказал, что ты и спать не спал.

– Это дедушка взад-вперед шастал?

– Если скучно, могли бы поговорить. Я ведь рядом лежала – не за дверью. А если тебе с женщиной интересно только десять минут, то не надо с ней ложиться в постель.

Я заметил, что она немного хрипит. Она стояла толстенькая, крепенькая, как бочка, и похрипывала.

– Что с тобой?

– Ничего особенного. Простудилась. – Она продолжала меня корить: – А уж как мне стыдно было. Думаешь, у меня полно любовников. У меня никого нет. Один разочек решила закрутить роман – и на тебе! Встал и удрал среди ночи.

– Ни до свиданья, ни спасибо.

– Вообще ни слова не сказал. И нечего тут шутики шутить. Мне было так стыдно.

– Перед дедушкой?

Она негромко сказала:

– А еще я боялась, что ты простынешь. Ночь была очень холодная.

И стало ясно, где она простыла.

– Ты что – бежала за мной?

– Да.

– Не сумела догнать?

– Ты как пуля влетел в электричку.

Вот так и простыла – волновалась за меня. Бежала за мной, наспех одевшись. Потом возвращалась. Одна.

– Зина, – сказал я с раскаянием, – ты меня не очень суди. Я малость чокнутый.

– Это и видно.

– Я ведь как раненый... Нервы.

– Брось врать.

Она решила, что мне попросту с ней стало невмоготу. Стало скучно. Или она мне не показалась как женщина. Коро-
че: что-то обидное и неприятное. А в такие штучки, как мои

нервы и мой ночной испуг, она не верила и верить не хотела. Здоровая натура.

– А ты чего здесь? – спросил я.

– Я иногда в этом районе ночую.

– У подруги? – оживился я, чуя, что здесь пахнет ночлегом на дармовщинку.

– Да, у подруги. Ночую здесь. Не каждый же день мне возвращаться на электричке в такую даль.

– А мне нельзя у нее переночевать?

– У тебя ж была квартира? Твоего родича.

– Была, да сплыла.

Я сказал правду. Была, да сплыла. Она еще раньше сплыла, задолго до Олега-два и его хорошо упакованной компании.

– Нет. Не получится, – сказала Зина. – Это будет неудобно. У нее одна комнатка.

– И соседей много?

– Много.

– В этом доме?

– Да.

Теперь мы поднимались по лестнице. Перед дверью она остановилась. Желала, чтоб я ушел. Желала со мной проститься именно здесь. Не показывая меня соседям.

Я попытался доесть ее жалостью. Жалостью ко мне, бедному и горемычному. Я рассказал, что так, мол, и так – была любимая, но вышла замуж. Не за меня. Я примчался из

степеней, но поздно. А теперь вот новая беда – она в больнице. После сложной операции. И нужны деньги, чтоб она выздоровела. Квартиру родича, которую послал мне случай, я сдал жильцам. Взял с них деньги. Поэтому и жить мне теперь нигде.

Все это было правдой от первого до последнего слова. И тон рассказа я вроде бы избрал какой нужно. И на жалость бил. И исподволь подчеркивал, что один-одинешенек в огромном городе... Тем не менее реакция оказалась совершенно обратной.

– Как же ты мог?! – вдруг возмутилась она.

– Что?

– Свинья ты. Свинья!.. Если ты ее так любишь, – возмущалась она, покраснев, как свекла на срезе, – как же ты мог?!

– О чем ты?

– Бесстыжий!.. Тьфу!

Ее даже трясло. А мне стало ясно – такую не свернешь. Дал я маху. Вот уж точно, не в ту степь.

– Зина...

– Убирайся!

Больше общаться со мной она не желала. Она вынула ключ, чтоб открыть дверь, при этом встала ко мне спиной. Давала понять, что я свинья и что все кончено. Конец фильма.

Я вышел на улицу, но идти было некуда. И озноб прока-
тывался по спине туда-сюда. Холодно.

Можно, конечно, на вокзал. Или к Бученкову – вдруг у
его тещи случится приступ доброты. И будет чай с сахаром.
И хлеб с маслом. Чего не бывает в жизни?.. Но ехать было
далеко. Устал. Утомился.

И тогда я вернулся в подъезд, где Зина. Нет, сначала я за-
глянул в какое-то насквозь промерзшее парадное. Брр. И тут
же вспомнил, что в подъезде Зины пахло кислой капустой.
Капустой, старыми валенками, керосинками и всякой ком-
мунальной дребеденью. Жизнь без прикрас. И потому там
было теплее.

Я вернулся. Домишко был в два этажа, а на втором этаже
– закуток. Под лестницей, а лестница уже вела на чердак. Я
приметил это местечко, еще когда рассказывал Зине о своих
бедах. Когда бил на жалость.

Я втиснулся в этот уголок – и аж задрожал от радости и
тепла. Там были газеты. Самое то, что надо. Целые ворохи.
«Пионерская правда» и еще что-то. Я завернулся в них и да-
же замурлыкал.

Нет. Сначала я снял плащ. Белый халат тоже снял: теперь
он не изомнется. Потому что я туго скрутил ему крылышки
и уложил в портфель. Это я умею.

Плащ тоже меня заботил: пришлось подыскать выступ и аккуратно его повесить. Я не хотел выглядеть, как целинник. В сносном плаще и с портфелем я еще долго могу ходить и ходить. А на брюки, кто ж на них смотрит.

Утром мы увиделись. Если можно так выразиться. Зина выходила из квартиры вместе с двумя другими жильцами – они шли на работу, были одеты, причесаны, в полном порядке. Даже одеколоном пахло. Этакое легкое облачко. А я как раз выбирался из своей газетной норы.

Я выбрался – стоял и отряхивался. Как пес. Зина и бровью не повела. И не подумала здороваться. А может, просто потеряла дар речи. Молчала. Я тоже не поздоровался.

* * *

– Видишь ли, мама, главное в жизни – основательность. Я решил овладеть сначала практической стороной науки.

– А потом будешь писать статьи?

– Непременно. И статьи. И диссертации. И вообще все, что пишут.

– Ты у меня умный, сынок.

Матушка заплакала. Когда я звонил, она каждый раз плакала. Не упустила ни разу.

– Поэтому ты дичишься девушек – да?

– Я?..

– Ты хочешь стать сначала настоящим ученым.

– Вот именно, мама.

– Номер у тебя в гостинице теплый?

– Солнечная сторона. И теплый. И чистый.

– А чем ты занимаешься в свободное время?

– Сейчас я вырабатываю в себе хороший вкус. Приучаюсь следить за своим внешним обликом – тут главное – привычка, мама! Купил костюм...

– Дорогой?

– Не очень. Но качественный. И видный.

– А еще?

– Галстуки модные купил. Мелочь всякую. Ботинки. Приучаю себя регулярно ходить в парикмахерскую.

– Правильно, сынок. Копейки не жалеи.

– Сейчас я понял, как важно человеку иметь внешний облик.

– Еще бы, сынок, – встречают-то по одежке!

– Именно это я сейчас и усваиваю. Носовые платки и носки стираю сам.

– Это не нужно.

– Почему?

– Неужели в гостинице некому дать постирать?

– Мама!.. Я же вырабатываю внутреннюю самодисциплину. Разумеется, белье, рубашки и прочее я отдаю стирать. Но носовые платки – никогда! Это принцип, мама.

– Тебе виднее, сынок.

Мы помолчали. Телефонное время застыло, как застывает

смола. И мы с матушкой были как застывшие в этой смоле божьи коровки.

– Что ты прочел в последнее время?

– Прочел?

– Из художественной литературы.

– Данте. Достоевский. Гете.

– Что прочитал из Гете, сынок?

* * *

Я съездил к Бученкову – и совершенно впустую. Надежды на ночлег в его квартире, тем более на ночлеги, не было ни малейшей. Теща шевелила губами, когда я клал в чай сахар. Я положил семь ложек. Если б она не считала, ей-богу, ограничился бы пятью. Впрочем, я знал, что сахар быстро и хорошо усваивается.

Андрюха сник. Потому что он не успел даже рта раскрыть в защиту. Теща выперла меня очень энергично и, надо отдать должное, очень обоснованно. В Москве грипп. А она всерьез боится за внука.

И на тебе – здесь действительно валялось письмо от Громышева. Алексей Иваныч расщедрился, сам написал, не на машинке. Кроме общих слов, была забавная вставка. Рассчитанная на самолюбие, которое, как известно, есть даже у ежа.

«...Мы тянем сейчас железнодорожную ветку. И один из разъездов, Олег, можем назвать твоим именем. Если хочешь,

конечно. Разъезд такого-то. Звучит?... Мы ведь помним, как много ты сделал для освоения». И так далее. И тому подобное. Тактические ходы и лезть напрямую. Дудки, Алексей Иванович.

Бученков меня провожал. Я рассказывал ему о Гальке. А он о теще.

– Ты не обижайся, Олег, – извинялся он. – Я от нее завишу. Примак есть примак.

– Да перестань!

– Вот въедем в свою квартиру – тогда заживем.

– Пока.

– Пока, Олег.

* * *

Я торчал в библиотеке до закрытия. Томился. И смотрел в оба – как бы это и где бы это подстрелить ночлег. Но знакомых не было.

И тогда я поехал на прежнее место. Так уж человек создан. Был двенадцатый час. Тишина. Только я повесил плащ и влез в газетную нору – голос:

– Чего ты там шуршишь?

Это Зина.

– Спать ложусь.

– Ты что – здесь прописался?

Она вытянула меня из ворохов «Пионерской правды». И

провела меня, не дыша, в комнату. Мы шептались.

– Только тихо.

– Ага.

– Это ведь не моя комната.

– Я помню. А где подруга?

– Она в ночную.

В квартире еще больше, чем на лестничной клетке, пахло капустой, родней и далеким детством. Жильцов здесь было немало, и по меньшей мере двое держали кошек. Сама комнатуха была меньше маленькой. Крохотная. Сверху на меня чуть не упал велосипед.

– Тише ты.

– Кто так вешает велосипеды? Повесили бы прямо на люстру.

– Не твое дело!

Так я стал ночевать у Зины. Это бывало иногда. А иногда в общежитии, у Олега-два. А иногда на вокзале. Такое было время.

Отношения у нас с ней сложились своеобразные, скажу яснее – чистые. Потому что произошла некая тихая подмена. В тот же вечер я, понятно, стал к ней приставать. То есть когда легли. Но меня не ждали. Если я люблю свою Галю, она, Зина, со мной спать не будет. Не имеет права. И это неважно, что Галя не дождалась меня и выскочила замуж. Важно, что я ее люблю.

– Но погоди, – перебивал я, совершенно рассвирепев, –

ведь мы уже с тобой спали.

– Ну и что?

– Тогда была та же картинка.

– Нет, не та же. Тогда я надеялась.

– На что?

– На любовь.

– А сейчас почему ты не надеешься?

– Сейчас я все о тебе знаю.

И хоть ты ей кол на голове теши. Нет, нет и нет. Конец фильма. Я перепробовал все отмычки, но впустую.

Я дошел до того, что стал объяснять ей подсознательное. Про внутреннюю жизнь либидо. Про то, что тело подчас хочет и умеет жить своей отдельной жизнью и что независимо от нас иногда хочется тихого общения разноликих «я» и «я». Пир интеллекта. Но для Зины все эти тонкости были трыва. Очередная болтовня. Она обо всем этом не слышала и слышать не желала. Кремень.

Между прочим, выяснилось, что Зина замужем. А муж в заключении. Она даже не знала толком, что такое муж, – только поженились, и его за решетку. Полгода не прожили.

– Я об этом тебе и толкую: ты как женщина – еще не проснувшаяся. Тебе надо проснуться.

– Отстань!

Это ее не интересовало.

– Сколько ж ему дали?

– Восемь.

– Ого! – Я отдал должное.

Зина вздохнула. История была коротка и обычна. Выпивал. Веселился. А тут подвернулась новая работа – кладовщиком. Уговорили. Подбили на тихое дело. Вот и загремел.

– Я тебе как-нибудь покажу его фотографию, – очень серьезно пообещала она.

Я лежал и смотрел в потолок. Постелено мне было на полу. Теплый матрас. Теплое одеяло. Теплая комната. То, что надо.

Но поначалу я занял.

– Холодно будет. Замерзну я здесь, – ныл я, целясь в кровать, где лежала она.

– Только не дурить, – сказала она жестко. – А то выставлю.

– А ты подумай получше. Я жду любимую из больницы. Ты ждешь мужа из тюрмы. Мы ждем оба. Чего ж нам не любить друг друга?

– Отстань. Никого я не жду.

– Как это не ждешь?

– А вот не жду. Если полюблю кого-нибудь, выйду замуж.

И она замолчала. Ушла в мечты. В то мягкое и облачное, которое есть у каждого. Которое мечталось и уже замечталось до дыр, и все равно оно мягкое и свое.

Я погасил свет. Зина скоро уснула, а мне не спалось. Я привстал и на цыпочках подошел к ней. «Зина, – позвал я и еще раз: – Зина». Она спала. При бледном свете окна (уличных фонарей) я смотрел на ее лицо. На меня сошла некая

чистота, чуть ли не благодать. Такое у нее было лицо – не лицо, а чудо. Лицо святой, хотя она не была святой.

* * *

Она была замечательный человек. Иногда она вылавливала меня на улице. Я хотел еще побродить в сумерки, пошляться или поразмышлять, а она говорила:

– Пора домой.

Или:

– Снег выпал, а ты расхристанный ходишь. А ну, застегнись!

И мне нравился ее голос.

Подруга, у которой мы жили, работала весь месяц в ночную смену. Но несколько раз я ее видел. Лет сорок. Здоровенная. Если Зина была как кубик, то подруга была как шкаф. Она тоже относилась ко мне хорошо. Кормила и не гнала на ночь глядя. Ее муж тоже сидел. Они и подружились с Зиной, когда носили передачи в Бутырку. (Мужья в то время были под следствием и сидели где-то там рядышком.)

* * *

– Сегодня мы будем смотреть фотки! – объявила как-то Зина. В руках у нее были два громадных альбома. Долгая и

счастливая жизнь прямых, а также боковых родичей, запечатленная в особенные минуты их бытия. Зина специально для меня привезла эти пудовые альбомы из дома – из того поселка, где я так отменно перетрусил.

– Дедушке привет передала? – спросил я, принимая альбом, от которого у меня едва не прогнулись в обратную сторону колени.

– Конечно, – сказала она серьезно, она не всегда понимала шутки. – И тебе большой привет тоже.

Мы поужинали. Посмотрели фотографии. Легли спать. Лежали и болтали – я на полу, она на кровати. Она спрашивала о здоровье Гальки. Я говорил, что Галька поправляется. А Зина интересовалась нашей будущей жизнью. Как и что.

Мы засыпали. Кислый запах бродил по всей коммунальной квартире, отстаиваясь и густея за ночь. Где-то постукивала швейная машина. Это напомнило мне барак. И детство. И железные скобы, чтоб очищать ботинки от грязи. И затхлость, и вековых старух, которые забыли все и умеют лишь одно – принимать роды.

– Ты спишь? – спрашивала Зина.

И это не было намеком, ни даже тенью на какой-то намек. Она именно спрашивала, сплю ли я.

И я – на той же чистой и нехитрой ноте – отвечал:

– Засыпаю.

Глава 10

На рынке я видел мужа Гальки – думаю, что он тоже меня засек в толпе. Но мы не попались друг другу. Не встретились. Через два или три базарных ряда я видел на его лице застывшее кислотовато-недовольное выражение. Кисловато-недовольные лица были у всех. Фруктов не было.

Перебой был уже третий день. Я торчал часа два и хорошо промерз. Но я достал.

Какой-то шпендрик (он оказался мужичком лет пятидесяти) поманил меня. Пока я к нему не приблизился, я думал, что это пацаненок. Он сказал, что сегодня прибудет посылка. С проводником. Курский вокзал.

Он назвал цену, и я чуть не присел.

– Креста на тебе нет, родимый, – вырвалось у меня со злобным шипеньем.

Он только осклабился:

– Какой уж тут крест...

– А не мерзлые?

– Ну что ты!

Делать было нечего. Мы отправились на Курский. Фрукты действительно были не мерзлые. Яблоки.

Я не поехал в больницу. Я поехал на следующий день, потому что мне нужно было раннее утро. Из-за карантина внутрь все еще не пускали. Я же хотел потолковать с врачом.

Я подстерег у входа.

– Самочувствие? – переспросил врач.

Он курил на ходу. Усы его заиндевели. Мороз. Но глядел он молодцом.

– Да, самочувствие. – Я заглядывал ему в зрачки. Я хотел бы заглянуть в душу. Я был уверен, что приступаю к длительному разговору.

– Хорошее. Можно сказать, замечательное самочувствие. Скоро выписывать ее будем.

– Как?

– А так. Выпишем, и все.

И он засмеялся. Двинулся к дверям. А я как бы обалдел. Я шел по улице как пьяный. Ну вот, думал я. Вот оно.

Я шел и шел. Тут я, видимо, и простыл. В рот надуло.

* * *

Помню, что я пришел к Бученкову. Меня вдруг осенило. Не может же Галька после больницы оставаться у мужа. Ее выпишут – и ведь куда-то мне надо ее поместить.

Кроме того, мне здорово хотелось поесть. Хотя бы хлебушка. Со всем этим я и пришел.

– Ты думаешь разместить ее у нас? – У Бученкова было очень скорбное лицо.

– Да. На пять-шесть дней. На сборы. То есть пока мы соберемся.

– А потом куда?

– А потом в степи.

Он набрал воздуха в грудь. Помолчал. И мужественно дал ответ:

– Хорошо. Согласен.

А я посоветовал. Расскажи теще правду, и она, быть может, поймет. Правду о нас с Галькой. Иногда лучше всего рассказать правду. Потому что всякий человек имеет свой тихий час. И в этот час она срабатывает. Правда.

– Объясни ей. Сам-то я где-нибудь перебыюсь. Но ведь Гальку пристроить некуда.

– Я поговорю с тещей, – мужественно подтвердил Бученков.

Теперь я хотел поесть, и желательно побыстрее, пока не нагрязнули домашние Бученкова.

– Тебе кто-то звонил, – сообщил Андрюха. – Несколько раз.

– Кто?

– Не знаю. Мужской голос. Каждый день звонит.

– Кому это я нужен? – Я пожал плечами, гадать не стал.

Если это Еремеев, муж Гальки, – пожалуйста, я готов объясниться. Хотя, в общем, я могу уехать с Галькой и не давая ему объяснений. Это уж как получится. Мы ведь степняки. Мы такие – как будет, так и будет.

Как раз пришла теща – она была в магазине.

– Здрасьте, – сказал я.

– Здравствуйте.

Вернулась с гулянья и жена Андрея. С дитем. Коляска с грохотом осталась в коридоре.

– Здрасьте, – сказал я.

– Здравствуйте.

Она стала распеленывать дите, бросая на меня косые взгляды, – дескать, буду грудью кормить. Я спешно налил себе чаю. Сахар нашелся сам собой, в шкафу, в сахарнице. Спрятан не был.

– Извините. Я жду важного звонка, – сказал я, прихватил с собой стакан с чаем и хлеб – и зашлепал в коридор, где телефон.

И тут позвонили – я чуть не подавился глотком.

– Алло?

Это был не Еремеев, не Галькин муж. Это был всего лишь Сынуля.

– А-а, – сказал я. – Привет.

– Ты... ты... ты...

Он задышался от злости.

– Родной мой, – спросил я, – что с тобой?

– Эти вещи... Сволочь... Вещи, которые...

Он ругался и плевался. Он крыл меня от и до. А ведь так нельзя. Это ж не телефонный разговор.

Я сказал:

– Если ты насчет шкафа и кухонных колонок – я верну, не трясись... Тебе их купить? Хоть завтра. Чего ты раскипя-

тился?

– Я?.. Раскипятился?!

– Ну да.

– Сволочь! Свинья!.. А откуда взялась эта орда? Откуда?.. Эти... Эти...

– Разве они не люди?

И тут он прямо-таки зашипел. Змей Горыныч. Змея подколодная. Я даже покрутил и повертел в руках телефонную трубку – думал, что искажается звук, потому что шипенье было попросту нечеловеческое. Отбои. Из трубки посыпались короткие гудки. И несло злостью, которую он туда надышал за эти минуты.

* * *

Поразмыслив, я решил все-таки заглянуть в эту миленькую однокомнатную квартирку. Дело в том, что я сдал ее цыганам. Так что я немного беспокоился. Если уж по-честному.

Простившись с Бученковым, я помчался туда, прибыл и уже на лестничной клетке почуял что-то неладное. Дверь была приоткрыта. И сама собой ходила от ветерка. Туда-сюда.

– Добрый день, – сказал я, когда вошел.

Вошел – и на минуту потерял способность соображать. Квартира была пуста. Абсолютно пуста. Как пещера.

Посреди этой пустоты у окна стоял молодой человек, сокрушенный скорбью. Я его узнал.

– Валя, – сказал я ему, – как же так?

Валя молчал.

Все началось на Курском. Я там разговорился с пареньком; звали его Валентином, и он был цыганом. Он был оседлый. Паренек как паренек. Жил в Москве. Работал электриком.

– А это мои земляки приехали. – Он показал мне на кучку цыган в углу вокзала. Там пестрели платки и поблескивали серьги. Цыгане были очень живописны. Издали были как клумба. – Земляки, – сказал он озабоченно.

– В чем же дело? – спросил я.

– Им надо хотя бы два-три месяца пожить в Москве. Но никто не сдает комнату. Хотя они готовы заплатить больше обычного. Деньги у них имеются.

– А чего они хотят, Валя?

– Приглядеться. И, может быть, работу найти.

– И никто не сдает им комнату?

– Никто.

– Бедолаги, – вздохнул я.

– Они очень милые люди, очень работающие. Я ведь каждого из них знал в детстве. О каждом могу рассказать тысячу подробностей...

Но я его остановил. Из тысячи подробностей меня в основном интересовала одна: платят ли они деньги вперед? Нет, аванс меня не устраивает. Деньги вперед. Только так... И вот они обступили меня. Суть дела милые и работающие

люди поняли не сразу, потому что некоторые стали кричать: «Погадаю, погадаю!» У меня рябило в глазах. Один из них, видимо старший, прикрикнул: «Тише!» Они выпустили еще немного пару и наконец уgomонились. Мы стали договариваться. В углу вокзала напротив «Союзпечати» – там все и обговорили.

– Валя, – тихо спросил я теперь, – почему так пусто, они решили провести дезинфекцию?

В опустевшей квартире было гулко, как в раковине.

– Они обманули меня, – сказал Валя. – Они обещали жить оседло.

Он был сражен горем. Лет двадцати от роду. Симпатичный. К ударам еще не привык. В техникуме, как он сам говорил, его все любили.

– Ну что ты, Валя, – сказал я спокойно, – они не обманули. Они действительно собирались жить оседло. Но не совладали с инстинктом.

– Ты так думаешь? Или утешаешь? – В его голосе сквозь боль слышалась надежда.

– Конечно, не совладали. Им не хватило волевого усилия.

– Мне совестно, я ведь клялся тебе, что уверен в них...

– Пустяки.

Я ходил по квартире туда-сюда. Кроме меня и Вали, больше никого и ничего не было. Ни предмета. Даже лампочки были вывернуты.

– Хорошо, что здесь паркет поганый и старый.

– Да, могли забрать, – откликнулся молодой цыган. – Я тоже об этом подумал.

– Пошли. Чего грустить.

– Мне перед тобой совестно.

– Перестань.

Он отдал мне ключи.

– Я бегал. Я искал им работу. Я им три места нашел.

– Пошли, – сказал я, – у них просто-напросто сработали инстинкты.

– Да, – вздохнул он. – Был у меня дружок. Работал в кондитерской – был ударником труда. И даже выпел повесили в его отделе.

– И удрал?

– Удрал. Увидел коней по телевизору. И исчез. Сейчас в кино стали замечательно коней снимать.

– Пошли.

Перед уходом я заглянул в туалет. Здесь тоже ждал сюрприз: не было унитаза. Беленького, фаянсового, с прожилочками. Дефицит, ничего не попишешь. Вместо унитаза зияла дыра с клокочущей там водой.

– Валя! – крикнул я. – А ведь бачок они не забрали!

– Знаю, – откликнулся он. – Но ты дергай цепочку осторожнее. И сразу же отойди. Брызги сильные.

В этот же день я лишился халата. Он был такой белый, такой чистый – я только-только его постирал. Его сдернули с меня прямо в дверях больницы. Сдернули, а меня развернули и вытолкнули. Пинка не было – и на том спасибо.

А больничная старушка, что носит передачи, ангельским голоском пела:

– Он не только, милые, сам пробирается. Он, милые, и других проводит.

Я обошел здание кругом и полез по пожарной лестнице. В комнатке для нянечек, в так называемой «бытовке», иногда покуривали больные – при этом открывали окно. Мне в таком случае только дотянуться ногой до подоконника. И я там.

Наверху – высота третьего этажа – оказался довольно сильный ветер. Руки замерзли, и я думал, как бы не грохнуться. Окно все не открывалось. Я висел на лестнице, ждал и думал о Гальке. Слабенькая она. Ну хорошо, для начала отлежится у Бученковых, но ведь впереди какая дорога...

– Эй! – заорал я. – Эй! Друг!

Кто-то наконец пришел покурить, и я тут же ему заорал:

– Эй! Открой окно!

Он открыл.

– Чего тебе?

– Посторонись-ка. Прыгать буду.

Я качнулся телом – и был уже там.

– Спасибо.

– Холод-дно, – затрясся он, закрывая окно.

– А мне там было не холодно? Только о себе думаешь, – сурово сказал я и, выглянув в коридор, добавил: – Некоторое время будем сидеть тихо. С закрытой дверью. Потому что там медсестра бродит.

В этот раз я услышал, как Галка смеялась. Смех у нее стал тоньше и счастливее. Я трижды проходил мимо палаты. Увидеть ее мне не удалось.

* * *

Я решил выпить кофе, съесть булочку. Зины за прилавком не было. Кофе я выпил, а булка не лезла в рот. Я домучил половину, а вторую половину сунул в портфель. Я, помню, удивился: как это необычно – не смог доесть.

– Где Зина? – поинтересовался я. – Сегодня она не вышла?

– Какая Зина?

– Ваш продавец.

– У нас Таня есть, Маша есть... А Зины нет.

– Но я же точно знаю.

– Да ведь и я точно знаю. – Она улыбалась из-за прилавка и смотрела мне в глаза ясней ясного.

Тут я огляделся – ну да, не в ту степь. Ошибка. Не то кафе, не тот прилавок. И тут же я понял, что со мной что-то творится. Звон в ушах. Это что-то новенькое. Заболел... Ответственность изнутри. Совесть – она, и только она спасет мир, – и я почувствовал, что эту важную мысль мне надо обязательно и сейчас же додумать.

На улице меня вдруг кто-то окрикнул. Кто-то очень знакомый.

– Что? – оглянулся я, а никого вокруг не было.

Я машинально топал по заснеженному тротуару. За каким-то троллейбусом. И по дороге к Зине. Эту дорогу я держал в голове изо всех сил.

– Привет, – сказал знакомый старшина.

– Привет.

– В вырезатель захотел?

– Ни в коем случае.

Он засмеялся и погрозил пальцем... Я уже знал, что болен, и знал, что меня шатает. Но я очень хотел додумать мою мысль. Ту мысль. Если совесть – это религия одиночки, то почему она не может быть религией всех? И тут я почувствовал, что совесть совестью, а фонарь вдруг пошел влево. Сам собой.

– Привет, – сказал я фонарю.

А он смотрел на меня все время сверху. С какой-то невыносимой верхотуры. И тогда я понял, что лежу под фонарем, и, значит, в случае крайней необходимости я буду хвататься

руками за этот самый фонарь – и встану на ноги.

Я подумал, что Гальке все-таки очень тяжело. И миру очень тяжело. Потому что личность, в сущности, сама себе надломила хребет. Выскочки есть, а личностей нет. Выскочки не оправдывают надежд, и всех нас за это пожалеть можно... Снег жег мне щеку. Левую. Я слышал какие-то голоса. Потом повернулся набок и поджал ноги. Теперь снежинки таяли на правой щеке. Шел снег.

* * *

Зина подняла меня – и дала мне по шее. Я хотел объяснить, но тут она еще раз меня треснула. Потому что приводела меня в чувство. А может быть, думала, что я пьян.

– Стой же ты!

Она приволокла меня в комнату. Ноги у меня подкашивались. Я норовил упасть то вправо, то влево. Все равно куда. Кажется, она меня раздевала. Так и есть – стаскивала с меня брюки.

– Но подожди, – сказал я. – Мы же еще не расписаны.

Она опять треснула меня и сказала, чтоб я бросил свои шуточки.

– Стой прямо. Долдон.

– Стою.

– Господи. А рубашка какая. Ты в чем ее стирал?

– Не помню... Зина, я ведь пришел спасти мир. Я тебе

говорил это?

– Говорил.

– Зина.

– Чего тебе?

– Зина, я спасу мир.

– Знаю. Знаю.

– Я пришел, чтобы его спасти. Я люблю Гальку – и через эту любовь я спасу вас всех.

– Тише ты. Спят люди. Ночь уже.

– Зина, ночи не будет...

– Знаю – будет вечная музыка. Ты это уже говорил. Подымай ногу. Да стой же, не падай.

Она раздела меня сначала до трусов. И, кажется, вела меня в ванную.

– Только тише. Да подымай же ноги – не шаркай. Если соседи...

– Надо спасти мир, Зина.

– Сейчас спасем.

И она погрузила меня в горячую ванну. Не вода, а блаженство. Я тут же постарался уснуть. Чувствовал себя великолепно, как и должен себя чувствовать бродяжка. После снега под уличным фонарем мне было хорошо, как никогда. А она стояла рядом. Чтоб я не захлебнулся.

Она растерла меня от ушей и до ног. И затолкала в постель. И еще навалила на меня что-то тяжелое и непереносимое, вроде перины. Я думал, что на меня въехал танк. Я

начал хватать ртом воздух и замахал руками.

– Лежи! – грозно прикрикнула она.

И тогда я уснул. Я подергался, пометался и вдруг уснул.

Болеl я неделю. Дней девять. Я просыпался и каждый раз видел эту самую комнату. Теперь я ее разглядел – типичная комнатуха. Коммунальная нора. Без претензий и с колченогим столом посередке. И кровать с никелированными шарами на спинке. Шары смотрели, как пара глаз большого неласкового насекомого. Выпуклые и выдвинутые вперед.

Когда кто-то из них, из женщин, спал на полу (я болеl, я спал на кровати), стулья играли в чехарду. Ставились стул на стул. До потолка. Чтоб освободить жизненное пространство. А утром эти стулья так и стояли – стояли подолгу, как задумавшаяся или задремавшая башня. Пока их не расставляли по местам.

Теперь я частенько видел подругу Зины. То бишь хозяйку этой комнаты... А как-то однажды они спали на полу обе сразу. Голова к голове.

– Ого, сколько нас сегодня! – И тут же я захрипел: – Пить, пить!

Мне казалось, что глотка у меня из затвердевшего крахмала. Я боялся, что она лопнет, и хрипел очень тихо.

– Оживел, – засмеялась подруга Зины.

Звали ее Нелей. Она была громадная, и Зина рядом с ней лежала как кубик.

– Пить...

– А руку протяни. Чашка рядом.

Я схватил чашку с холодноватым сладким чаем – выпил одним духом.

– Пить...

– Сейчас. – Она встала, она была в комбинации. – Сейчас. – Она принесла воды. – Ого. Время-то семь часов. Зинка, эй! – Она несильно толкнула ее мыском ноги. – Зинк, а ведь работать кому-то пора!

* * *

В другой раз, рано проснувшись, я видел, как они отправляли посылки. Мужьям. Они взвешивали на безмене круги колбасы (там принимался определенный вес), укладывали эту колбасу, как укладывают веревку, а по углам ящика рассовывали носки и вареники. Укладывалась также махорка в пачках. И сухари. Зина мокрой ладонью шлепала по фанерной крышке. И тут же, по мокрому, химическим карандашом выводила адрес.

Я кинулся в больницу. Я был еще ватный, а ноги выделяли кренделя. Иногда бросало в сторону – шага на два или на три.

– Прошу прощения, – говорил я тому, на кого налетал.

И опять говорил. Следующему:

– Прошу прощения.

За эти дни здорово насыпало снегу. Природа не дремала,

пока я валялся. Когда меня уносило с тротуара в сторону, мне приходилось топтаться по колено в снегу. Но я уже знал, что не упаду. Я был здоров.

Я вошел в вестибюль. Там было полно народу.

– Снят карантин? – спросил я.

– Нет. И не думают.

Я протолкался к температурному листу. Я замерз и дул себе на пальцы. При этом исподлобья глядел вверх, а там сбоку на листе против фамилии Гальки значилось: «Выписана». У меня хватило мозгов отыскать и посмотреть число.

Два дня назад.

Не помню, как я выбрался из людского столпотворения, – я уже мчался к ней.

* * *

Вот именно. Какой бы день из тех давних дней он ни вспомнил, он так и слышит прозрачную ясность звучания – Я МЧАЛСЯ. Никаких сомнений или отслоений в интонации. Никаких колебаний. Я БЕЖАЛ. Я ЛЮБИЛ. Все четко и ясно.

Прошло несколько лет. Олег повзрослел, он уже – Олег Нестерович. И, как и положено повзрослевшим, Олег Нестерович научился не толкать локтями людей там и сям. Научился понимать и чужих тещ, и своих родственников. Это пришло само, потому что рано или поздно оно приходит.

Но исчез задор. Исчезла ясность и четкость голоса. Исчезло нечто.

И вот однажды, как и каждому, ему говорят:

– Ты очень, Олег, переменился. Ты ведь был совсем не такой.

И он отвечает. Оно как-то само собой ответилось:

– Что же тут удивительного – тогда я был молод. На первом дыхании был.

И с этой минуты речевой оборот и сама интонация – случайные, в общем, – берутся им на вооружение.

– Раньше ты, Олег, не колебался и не рефлексировал. Не раздумывал так долго...

– Раньше? – улыбается он. – Но это же понятно. Я был тогда на первом дыхании.

Или:

– Олег!.. Какой ты, ей-богу, стал медлительный и рассудочный!

– А возраст. Я же не на первом дыхании.

И так далее. На все или почти все случаи жизни. Этой фразой он пользуется и до сего дня – пришлась по вкусу.

Как-то выводили одного пьяного. Его выводили под белые руки, бережно с дружеской вечеринки, где он (приходится извиниться за неизящность оборота) облевал все, что было от него близко и что было далеко. Дело, разумеется, житейское. Бывает. И вот его сводили вниз, на воздух, чтобы ему немного полегчало. А он упирался и кричал:

– О моя молодость!.. О моя молодость!

Любопытно само выражение – именно так он кричал в минуту, когда ему было отвратно и скверно.

– Не ори! – сказал первый из сводивших его вниз.

– Пусть, – сказал второй по-доброму. – Пусть орет. Пусть только не блюет. Не человек, а нефтяная скважина.

– Ч-черт. На кого мы похожи, – сказал третий, отряхиваясь.

Такая вот бытовая картинка, мелкая и не очень оригинальная.

Олег Нестерович был один из них – из тех, кто сводил перепившего вниз, на свежий воздух. Уже через полгода Олег Нестерович напрочь забудет и эту компанию, и каким образом он в нее попал – он уже ничего или почти ничего не помнит. Ни тех, кто выводил. Ни кого выводили. Ни лиц, ни имен. И даже – шапка с перепившего все время падала или шляпа – не помнит. А выкрики помнит.

Он помнит, и иной раз ему въявь кажется, что это он сам кричит (хотя он вовсе не кричит, а, напротив, очень даже степенно и тихо идет из гастронома с полной авоськой). И он слышит свой собственный голос. А если очень подкатывает, он может повторять это вслух – повторять до бесконечности. И глотать ком, который все мы глотаем. О моя молодость. О моя молодость. И так далее. До бесконечности.

Это уже другое характерное его выражение. Столь же характерное, как и «на первом дыхании».

Еще штрих к портрету. Олег Нестерович при всей своей рассудительности немедленно вспыхивает и раздражается, если кто-то, пусть даже в шутку, бранит себя самого за «глупую молодость», за «потерянные годы» и тому подобное.

– Ты ничего не понимаешь в жизни! – И Олег Нестерович весь трясется от гнева.

И начинает втолковывать собеседнику, что ты, друг милый, НИКОГДА И НИКОМУ БОЛЬШЕ не говори, что в молодые годы ты был глуп и смешон. Это неправда. Говори так: был легковверен. Был искренен. Был смел. Был свободен. Был добр. Был на первом дыхании.

Глава 11

Я примчался в квартиру Еремеевых. К Гальке. Там как раз начиналось веселье – праздник по случаю выздоровления, что-то в этом роде. Полно народу и дым коромыслом.

Галька полулежала на диване, ходить еще не могла. Но выглядела отлично. Вокруг нее происходила какая-то бесконечная радостная мельтешня незнакомых мне лиц. Родичи. Я узнал только Еремеева – он сидел в углу, молчаливый и насупившийся. Он безлико кивнул мне. Как кивают тому, кто несуществен.

А Галька улыбнулась:

– Здравствуй.

И произнесла ровным, спокойным голосом. С милой улыбкой:

– Олег, загляни-ка на кухню. Там тебе дадут выпить, хочешь?

И пояснила:

– Я ведь лежу. А то бы я сама тебя угостила.

Я сказал, что да, да, хотя ни пить, ни есть мне совершенно не хотелось. Я уже чувствовал, что я как бы не туда попавший. Все было как-то странно. Я чего-то не понимал, что понимали другие. Они знали, а я нет.

– Иди, Олежка, – сказала она.

– Ага.

И я двинулся на кухню. Там был конвейер еды и выпивки. В ожидании большого стола люди заходили, подкреплялись и уходили. Две толстые тетki тут же набросились на меня и стали кормить. Не отпускали.

– Вы приятель Гали? Или ее мужа? – Первое, что они спросили.

– Гали.

– Ну и как вы думаете, чем все это кончится?

В таких случаях я отвечаю очень четко:

– Я думаю, что все будет хорошо.

Вошла еще тетка. Теперь их было три. Три ведьмы. Три вещуньи. А если проще, то три пожилые женщины, которые варили, жарили и между делом загадывали на будущее.

Тетка, что вошла, сказала:

– Боже ты мой! Неужели же будут разводиться? (Судя по интонации, тетка была со стороны Еремеева.)

– А что ж. У молодых это сейчас просто. Сегодня женятся, завтра разводятся, – будто бы с осуждением, а на самом деле с чем-то затаенно-приемлющим сказала другая тетка (тетка со стороны Гальки).

– Наше дело сторона, – сказала третья тетка (нейтральная).

– Верно. Сейчас празднуем ее здоровье, а если пригласят – и на новую свадьбу придем, – откликнулась тут же вторая (тетка со стороны Гальки).

Она же:

– Наше дело стряпать. И не вмешиваться.

– Но поговорить-то имеем право!

– А о чем тут говорить?

Чувствовалось, что они изо всех сил сдерживаются, так как Галька слаба и совсем рядом. И если б не ее болезнь, здесь был бы грандиозный скандал.

Я около получаса слушал их недомолвки и вкрадчивый треп. Я еле жевал, медленно-медленно, чтоб тянуть время и слушать. И наконец все услышал и все узнал. Оказывается, Галька влюбилась. Ну да, в больнице, когда, казалось бы, ей было совсем не до этого. Она влюбилась в хирурга, который делал ей операцию. В усача. Его звали Анатолием. И будто бы уже вся больница об этом знала и говорила, что какая это необыкновенная, и большая, и серьезная любовь. То есть он тоже ее любил.

Дело было давнее, и только я один был в полном неведении. Был дурак дураком.

Я вернулся в комнату, где Галька.

Там тянулся нескончаемый общий разговор о бычках в томате, о наконец-то крепкой зиме, о многосерийном фильме. Галька улыбалась и время от времени поглядывала на хирурга (он уже пришел). Усач очень скромно сидел в двух шагах от нее. Он чувствовал себя немного не в своей тарелке. Но сидел. Выложил свои талантливые руки на колени. А вокруг шумели малознакомые ему люди, и в углу с кем-то из родичей играл в подкидного Еремеев.

Иногда Галька втягивала хирурга в разговор. И глаза сияли. Дескать, бояться тут некого, милый. И совсем не надо робеть, милый. Я тобой восхищаюсь, милый. И пусть, милый, все это видят и знают... И усач оживлялся. Отвечал на вопросы. Пояснял. Да, воспалительный процесс окончательно остановлен. Да, повезло. Да, стабилизация полная.

На кухне тоже не умолкали:

– Говорят, ему сейчас не до любви – диссертацию защищает. (Это о нем, о хирурге.)

– И называет она его как-то смешно – Анатолий. Если Анатолий – я знаю. А что за Анатолий? (Это говорили тетки, те, которые Галькины. Когда они сталкивались с тетками Еремеева, то делали вид, что Галька царица – кого выбрала, с тем и будет, и не надо мешать. Но меж собой они Гальку осуждали.)

* * *

Я ушел, уже не мог их слушать. Мне нужен был воздух. И высокое небо. И необъятная даль.

Ничего этого, конечно, не было. Просто сыпал снег – мелкий и довольно занудливый.

Ноги привели меня сами. Будто это они, ноги, думали свою долгую думу и наконец надумали, пока я шел и морщился от мелкого снега.

Я вошел – он сидел ничуть не изменившийся, как всегда, большеголовый и, как всегда, коротенький. Коротышка с золотыми зубами. Представитель фирмы. Я вошел и с ходу выложил, что я возвращаюсь к Громышеву.

– Решил?

– Образумился.

Он подумал и сказал:

– Это замечательно... Алексей Иваныч будет рад.

А сам глядел как-то необычно. Что-то такое таил.

– Билет хотелось бы на завтра же, – сказал я. – Достанете?

– Достанем, Олег. Будь спокоен.

И он вдруг сказал фальцетом. Пустил петуха:

– Горчаков умирает.

Встал и потащился к окну. Хотел, чтоб я не видел его лица.

Затем (он стоял у окна, не оборачиваясь: он нащупал пальцем край стола, где была вмонтирована кнопка) вызвал секретаршу. Она сделала отметки в моих бумагах. Заказала билет на завтра. Улыбнулась мне. И ушла. Секретарша была что надо. Новенькая.

Тощий представитель умирал. Мы пришли к нему домой. Он лежал, запрокинув голову к потолку и выпростав руки из-под одеяла. Ухаживала за ним какая-то заплаканная женщина.

– Олег! – Он весь просиял, будто это пришел не я, а бог знает кто.

У него были голубые глаза. А лицо черное.

Большеголовый сказал:

– Вот видишь – Олег возвращается.

– К нам? (Так и сказал. Жил здесь, болел здесь, умирал здесь, а «к нам» – это значило в степи.)

– К нам, – ответил большеголовый.

Тощий Горчаков взволновался. Его проняло – он стал говорить, что он никогда не сомневался в том, что я вернусь. Что все мы «зачарованные степью». Где бы нас ни мотало, мы вернемся. Потому что зачарованные возвращаются. Рано или поздно.

– Даже я вернусь, – закончил он. – Если помру, скажите Громышеву, чтоб отвез к нам. И чтоб там похоронил.

Он засмеялся:

– И пусть не будет жмотом. Сейчас это просто. Свинцовый гроб – и полный вперед.

Он спросил меня:

– А жену берешь с собой?

– Нет.

– Ты же хотел.

– Передумал.

– Да, холодно. Ты уж ее вези весной. А сейчас там вьюга.

Ох и вьюга...

– Сейчас Громышев за дровами посылает, – в тон сказал я.

И, все трое, мы засмеялись. Дровами у нас в шутку назывался кизяк. Помет с соломой.

Оба сказали:

– Кланяйся там.

– Ладно.

– Всем кланяйся.

Я ушел и не стал думать о том, что Горчаков умирает. Я был молодой. Еще не знал и не хотел знать про смерть, хотя уже видел и знал, как умирают. Получалось, что я проходил мимо, хотя стоял около.

Горчакову было сорок с чем-то, мне он казался стариком. Он был тощ и изможден. До тридцати пяти он вкалывал в степях. Романтик. Причем чистой воды – то есть и сам романтик, и думает, что все такие. Счастливый от незнания.

Раз в год его откачивали в одной из московских больниц. Раз в год выдергивали из могилы, и он опять был представителем фирмы. Помню, однажды ему подсунули плохое оборудование. Гнилые палатки. Проржавевшие приборы. И фитили, которые горели, как бенгальский огонь, а светить не светили. Он был месяц в больнице и проследить не смог.

А мы были в степях – я стоял возле Громышева и по листочку зачитывал наши убытки. А Громышев орал на него в

телефонную трубку:

– Надо было самому присутствовать при погрузке!

– Я лечился – я не знал этого, Алексей Иванович.

– А то, что они жулики, ты знал или не знал?!

Телефонная трубка невыносимо искажала голос. Звуки шли тонюсенькие и высокие до комариного писка.

– Москва! Москва! – орал Громышев, всем своим видом и ревом требуя от столичных проходимцев хотя бы умения сносно подключить телефон.

Но трубка пищала. Доносился тоненький голос Горчакова:

– Я не знал, что они жулики. Меня лечили...

– Тебя, я слышу, заодно кастрировали – ты это или не ты?

– Я, Алексей Иванович. Это я, – пищал голосок.

* * *

Зины дома не было. И громадной ее подруги тоже.

Я в последний раз оглядел эту тихую комнатку. Десять квадратных метров. Комната, где я болел. Комната, где я жил. Комната, где я отогревался.

Уже собравшийся и вполне готовый, я зашел в булочную-кондитерскую. Кофе с булочкой – это хорошо. Зина была за прилавком. Я был очень ей благодарен, любил ее, но прощаться с ней по-настоящему я не хотел. Сам себя боялся. Она будет сочувствовать, а я от ее сочувствия могу раскис-

нуть. Раскиснуть и расслабиться. И сдать билет. И застрять здесь.

Самое главное, чтоб сейчас не сочувствовали. Это я знал точно. Я ел булочку и соразмеренными глотками пил кофе.

Улучив минуту, Зина подошла.

– Улетаю, – сообщил я с подчеркнутой зверской серьезностью.

– Когда?

– Завтра.

– Придешь ночевать?

– Нет. К другу поеду. У него сегодня пустая квартира.

– Это тот, который с тещей?

– Ага.

Она помолчала. Мы оба молчали и как бы подводили итоги. Я действительно звонил Бученкову. Действительно, теща, жена и дите уехали куда-то к родным вплоть до Нового года. И Бученков меня тогда же позвал к себе.

Пауза получилась длительная. Зина ждала каких-то моих слов, а на меня накатило. Ни звука. Молчу и молчу. Некоторое время я как бы не мог их видеть. Женщин. Ни видеть, ни думать о них. Ни тем более говорить им что-то и объяснять. Обжегся.

– Жалко, – сказала наконец Зина.

– Чего жалко?

– Я б собрала тебя. Дорога ведь дальняя.

– Дорога как дорога.

И тогда она обиделась. Повернулась и пошла к себе за прилавок. Но я схватил ее за руку, успел схватить. Я как бы опомнился. Никто не жалел меня больше, чем она. Добрее и лучше ее никого не было.

– У меня на душе погано, – сказал я, пряча глаза.

Она молчала. И потихоньку высвобождала руку. А я держал ее за запястье, как клещами.

– Я тебе напишу, Зина. Обязательно.

Она молчала.

– Я тебе напишу.

– Честное слово?

– Да.

И поверила. В ту же секунду, как только я произнес «честное слово», она поверила. Такой человек. Так дышит.

Зина улыбнулась:

– Умница!..

Тут же придвинулась вплотную и чмокнула меня в щеку. Я поклялся писать, и, значит, мы друзья. Так она это поняла. И попыталась взять меня под уздцы, немедленно и как можно жестче. Настоящая женщина. Она сказала, что я не умею прощаться. Что я нечуткий.

А через минуту-две она уже покрикивала:

– Ну, где тебе собраться одному?! Ты же ничего не умеешь.

– Потихе, Зина.

– Во-первых, носки с дырками...

– Тише.

– Ты же сопляк! – кричала она чуть ли не на всю булочную-кондитерскую. – И притом неблагодарный сопляк. Продукты я куплю тебе сама. В продуктах ты ничего не смыслишь.

– Зина...

– Не спорь со мной!

Она оглянулась.

– Подожди минутку, – сказала она. – Я отпущу вот этих двоих.

Она двинулась за прилавок, а я тут же дал деру.

Тут было еще одно. Она ведь обязательно будет расспрашивать меня о Гальке. И выудит все до последнего слова. Она такая. Мастачка жалеть и сочувствовать. Доброе и по-своему великое сердце. Я могу сейчас спокойно удрать и явиться к ней через пять, например, лет. И вновь уйти. И она не обидится. И, брошенная, все простит. Ей не в первый раз. И не в последний.

Неожиданно я увидел ее опять. Я стоял на автобусной остановке, а она, оставившая прилавок, мчалась ко мне и за квартал кричала:

– Олег!.. Олег!

Ее руки были загружены кулками и свертками, назначенными мне в дорогу. А женская заботливость подхлестывала ее так, что она летела как пуля. Расстояние сокращалось на глазах. И самую чуть ей не подфартило. Автобус подошел, а

ей было мчаться еще метров пятьдесят.

Я впрыгнул и укатил. Не выношу сочувствия. Тем более искреннего. Не мог я тогда вынести ее сочувствия – и хватит об этом.

* * *

Я поехал к Бученкову – он только что приплелся с работы, был вял и на мир смотрел кисло.

Мы поужинали. Мы наметили, что будем нынче смотреть хоккей. Мы были вдвоем в тихой квартире, и впереди целый вечер. Телевизор, тишина, и нет тещи – разве не чудо?.. Я заварил чай. Бученков, как всегда, когда не было близко тещи, говорил о нашей дружбе. И вот мы пили крепкий чай и смотрели по телевизору что-то предхоккейное.

– А как же Галька? – вдруг спросил он. – Ты на самолет, а она?

Я уж думал, обойдется – думал, что улечу без разговоров.

– Вот это работенка! – сказал я о хоккеисте, который на разминке вдруг швырнул шайбу через весь телеэкран.

– А как Галька?.. Чего ты молчишь?

И тогда я рассказал. Пришлось. Бученков спросил:

– А что дальше? Галька выйдет замуж за этого усатого хирурга?

– Видимо, да, – сказал я как можно небрежнее.

– Не понимаю.

– Чего ты не понимаешь?

– Бился за нее, бился. И вдруг – смываешься.

Я объяснил. Была замужем, жила с Еремеевым – это все ошибки и мелочи, это не препятствие. Во всяком случае, для меня это не смертельно. А теперь она любит, и это совсем другое дело. Это как под поезд попасть. И теперь делать мне здесь нечего.

Мои слова были толковы и точны. И смысл был. И логика. Все было, правды не было. Потому что на самом-то деле я о Гальке пока не думал. Ни разу еще не подумал с тех пор, как увидел ее и рядом с ней усаха хирурга в окружении воркующих теток. Я откладывал на после. Откладывал и откладывал.

– А как Еремеев? Муж ее?

– Молчит.

– Мучается? – интересовался Бученков подробностями.

– Наверняка. Я видел – сидит и без передышки в подкидного режется.

– И ничего не предпринимает?

– А что тут предпринять можно? Он ведь тоже как под поезд попал... Чаю еще заварить?

– А не будем всю ночь ворочаться?

– Да ну!

Кончался первый период. Команда играла в меньшинстве, трибуны ревели, и наш телевизор ревел их ревом – хоккей и зритель, так уж оно задумано. Я пошел выключить газ под

уже закипевшим чайником и только поэтому, отдалившись и отделившись от шума, уловил, что в дверь позвонили. Звон.

Звон был негромкий. Одноразовый. Бученков, припавший к телевизору, его попросту не слышал.

Я нес чайник. Поставил его на коврик у двери, чтоб освободить руки, и открыл. Передо мной стоял парень. Самый обыкновенный.

– У меня тут вещичка, – сказал он.

– Что?

– Вещичка импортная. Хочешь глянуть?

И вот удивительно. Никогда не покупал я вещичек. Не покупал, не знал этого дела, да и вообще довольно равнодушен к шмоткам. Однако я кивнул ему и вышел на лестничную клетку.

Я вышел, и в ту же секунду (не минуту, а именно секунду) мне стало плохо. Удар пришелся куда-то в область виска. Бил не тот, к которому я вышел, а второй – сбоку. Всего их было трое.

Дверь они прикрыли. Так что кино продолжалось в полной тишине на просторной лестничной клетке. И не появилось ни души. Люди были заняты хоккеем. К тому же я не кричал, уже не смог. Я помню удар в сплетение такой силы, что мне показалось, что все кончено. И помню удар поперек спины, это когда я заваливался. Тут я уж точно знал, что отдал богу душу. Били велосипедной цепью.

Но я не отдал душу. Я даже зачем-то попытался встать – и встал – и опять очень скоро улегся.

Потом я лежал, пускал пузыри разбитыми губами. А надо мной, заглядывая мне в лицо, появился Сынуля. Он самый. Мой родственничек. Он и был третьим.

Он довольно четко высказал все, что обо мне думал.

Он добавил:

– Сволочь. У меня скоро опять будет все, что мне хочется. Ты запомнил?

Я запомнил. И еще вот что запомнил:

– Ты, сволочь, думал мне сделать хуже. Ты себе сделал хуже.

Словом, он выступил. Высказался, чтоб облегчить душу. Потому что избиение не утолило его вполне.

* * *

Очухавшись, я выскочил из подъезда и помчался за ними. Но оказалось, что слаб – колени не держали меня. И голова была не своя, будто на нее надели гулкую и тяжелую кастрюлю.

Я зашатался и вдруг плюхнулся на скамейку у какого-то дома. На улице было пустынно. Одни фонари. И откуда-то из распахнутой фортки доносились хоккейные страсти. Я брал снег со скамьи и прикладывал к губам. И потихоньку его ел.

И вот тут я увидел Гальку. Я вспомнил, как она гримас-

ничает. Я услышал, как она смеется.

«А если у него блохи?»

«Олег, отстань!»

«Вымой его сначала».

Я нашел ей тогда котенка, черного, потому что точно такого котенка она в свое время клянчила у вахтерши и было выклянчила, но тот помер от чумки.

Глава 12

Я сидел и прикусывал снег. Была и такая мысль – сейчас он с дружками потащится куда-нибудь развлечься. А к часу или двум ночи я подстерегу его у входа в квартиру.

Я даже встал со скамейки, предвкушая момент, как я его подстерегу. Как он будет перепивший и испуганный, а я появлюсь перед ним. И буду стоять спокойный и голосом ласковый. Но я встал и... сел. Я улыбнулся. Бог с ним. Если уж честно, то кой-какие основания осерчать у него были. И ведь тоже человек.

Я доедал снежок и вспоминал, как Валя-цыган рассказывал о Сынуле: о том, как Сынуля, еще ничего не знавший, как-то ночью пришел в свою однокомнатную квартиру. Сынуля пришел не один – с девицей. Видно, сюда было ближе, чем в родительские хоромы. Или почему-то удобнее.

Им хотелось уединиться. Или, может, выпить, пошарив в знакомом холодильнике.

– Та квартира родительская, – шептал ей Сынуля, – а это моя. Сейчас увидишь.

Ключ у него был, они тихо вошли, но свет им включить не удалось. Сынуля решил, что перегорели пробки. А пробок просто не было – их вывинтили, как и лампочки, как и все остальное, что можно было вывинтить. «Сейчас», – шептал Сынуля. В темноте он и девица пробрались на кухню, к хо-

лодильнику. Холодильника не было.

– Олег! – позвал Сынуля, теперь он решил меня разбудить, потому что уж очень все было непонятно. – Олег! – Но жилец не отвечал. Тишина. Сынуля чиркнул спичкой. Пустота вокруг была абсолютная. Из этой пустоты возникли пять или шесть цыганят, которые обступили молодую пару, – Сынуля едва не спятил. О девице и говорить нечего. Оба еле вырвались из квартиры, облапанные с ног до головы, – у Сынули не было кошелька, у девицы перчаток, сумочку она отстояла. Все эти подробности Валя-цыган узнал от своих соплеменников. А я узнал – от Вали.

* * *

Я доел снежок и вернулся. Бученков сидел, воткнувшись в телевизор, – ничто не переменялось, трибуны подбадривали хоккеистов ревом. На все дело, вместе с едой снега на скамейке, ушло меньше часа.

Хоккей кончился, Бученков оторвался от экрана – и даже вздрогнул:

– Что с тобой?

А я, надо сказать, уже умылся. Привел себя в порядок.

– Что с тобой?

Я объяснил. Он был потрясен. Он никогда не видел разбитой морды в такой непосредственной близости. И долго не мог успокоиться. Он был в таком ужасе, как будто увидел

мировую катастрофу – гибель детей и женщин.

– Как же так? – повторял он. – Как же так?

* * *

В самолете, надо сказать, тоже удивились – те, кто сидели впереди меня, – они нет-нет и косились на мою физиономию в темно-сливовых подтеках. Было утро. Самолет гудел. А эти двое время от времени на меня оглядывались. И острили.

– Нехорошая примета, – будто бы шепотом говорил один из них. – Посмотри на этого молодого человека.

– Мне думается, он прыгал без парашюта, – предположил второй.

– Думаешь, он из тех, что разбились прошлым рейсом?

– Ну, ясно.

– Говорят, их всего восемь человек уцелело.

– Семь.

Это они так шутили и пугали окружающих. Им было по пятьдесят лет, а трепались, как пацаны. Подчеркивали, что ничего они не боятся. И лица у них были соответствующие. Храбрецы.

* * *

А потом пошли дороги – они самые.

Сначала по дорогам ходили автобусы. Тебе давали билет, и ты успевал потрепаться с кондукторшей. А потом автобусов уже не было, но приходилось давать шоферу попутной кой-какую мелочишку. Тоже как бы за билет. И наконец, пошли те дороги и те грузовики, шоферы которых денег уже не берут. Снег. И снежная пыль. И ничего больше вокруг нет. И деньги тоже ничто.

Но зато один из этих бессребреников едва меня не угробил. Он гнал машину, как сам дьявол, если только дьявол ее когда-нибудь гнал. Я был в кузове. Потому что в кабине он вез какой-то огромный и важный сверток, который никак не должен был промерзнуть.

– Стой! – орал я. – Стой!

Дело было не в холоде, холод бы я перетерпел. Хуже было то, что со мной в кузове ехали три железные бочки с солидом. Или с чем-то подобным. Одна из них вдруг вырвалась из гнезда и носилась от борта к борту, а я только успевал отпрыгивать. Я начал понемногу пробираться вперед – хотел забарабанить кулаком по кабине. Снежная пыль летела за нами тучей.

– Стой! – орал я.

Дело стало нешуточным. Бочка выбила из гнезда вторую. Борта грохотали от ударов, а я орал и прыгал из стороны в сторону. Я понял, что одна из них меня ломает, и бросил чемоданчик за борт. Затем выпрыгнул сам.

Я приземлился в снег, как кошка. На все четыре. Пере-

вернулся, но костей не поломал. А вот с чемоданчиком было хуже.

– Идиот! Бесноватый! – орал я шоферу вслед.

Он слышал меня так же хорошо, как и сороку, которая сидела на столбе.

Вот именно. В тишине я вдруг услышал сороку. Сорока была просто красавица. А машина была уже далеко – еле видна. И была тишина. Я стоял под огромным открытым небом. И совершенство снега вокруг. Совершенство белизны. И ни души, только эта сорока.

* * *

К ночи я добрался до хуторка. Там поел и заночевал. А утром двинулся дальше.

Вот и все. Я подходил ближе и ближе. Слева осталось небольшое футбольное поле, где по утоптанному снегу наша шоферня гоняла мяч с какими-то солдатами (соседи, что ли?). Кто-то из шоферов помахал рукой: «Привет!» – будто я уезжал на одну ночь и вот вернулся. Фанерная арка – проход к домику, где кухня. И повариха Женечка сияет из окна и тоже машет.

Громышев на крыльце. Вышел. Но делает вид, что вышел не ради блудного сына, а по какому-то делу. Суров и насуплен.

– Ну?.. Вернулся?

Повесть о старом поселке

Глава 1

А жизнь идет. И всё дела, и все важные. Ну, скажем, нужные, — оно как-то обязывает, если скажешь «нужные». И обязывает, и оправдывает. То вдруг жена, и надо как-то участие принять, потому что, оказывается, несчастлива подруга жены. С которой жена когда-то училась вместе. И идешь и принимаешь участие.

А на это «участие» по времени захлест уже напалзает, как тень, муж сестры Анечки, который пьянствовал, и не в шутку. Он пьянствовал и мировые проблемы решал, а ты просто и тупо мучился, потому что сестра и потому что родная. В конце концов решился и сдал его на принудительное лечение, а он грозил: «Вернусь, Витька, убью. Так и запомни!...» И вернулся, и не убил, и даже как-то дружнее стали, но опять не слава богу. Что-то у него там в больнице обнаружили. Заодно. И вот теперь операция предстоит, и ведь тоже на тебе повисло. И никуда не денешься... И главное, что одно за одним. За год промелькнуло этак лиц пятьдесят. И это если считать лишь тех, кто крупным планом. И вдруг подкатывает холодок, и чувствуешь, что все они, в сущности, чужие. Или это они стали чужими оттого, что их пятьдесят. Уже и

не разберешь, что первично. Вот именно. Весь мир, говорит, не трудно в душу вместить, ты, говорит, поди вмести моего соседа... Одно за одним. И иной раз оглянешься вот так на бегу, окинешь эту громаду домов, толпы людей и толпы собственных забот (это уж внутри себя!) – и вдруг вырвется:

– И как же это меня сюда занесло?

И ведь именно занесло, то есть само получилось. Ведь он, Ключарев, не очень-то и старался.

* * *

Приходит к нему, Ключареву, сосед – через два подъезда живут – и жалуется. Дескать, безобразие у них на лестничной клетке. Жильцы, говорит, как собаки. «Вот меняться хочу». – «Куда?» – «Все равно, лишь бы от них подальше. Уже объявление на столбах повесил». – «Винца хочешь выпить?» – «Давай», – и ведь бесконечный же идет разговор. И Ключарев даже сочувствует: да, дескать, бывает. И даже подскажет, что не на столбах надо, а в обменбюро. И про районы. И еще что-нибудь подобное, копеечное. Подскажет, а сам подумает: нигде ты, братец, лучшего не найдешь, у большого города свои законы. То есть с жильцами тебе, может, и повезет. Но, значит, в чем-то другом таким боком выйдет, что маму вспомнишь, никакая это не мистика – закономерность большого города. И он, Ключарев, это давно понял. И давно махнул рукой.

Или вот. Приятель на работе жаловался. Вчера. Говорит, любовь у него и, говорит, сразу столько хлопот. И клянет всех и сочувствия просит. И помощи всякого рода. А уж где помочь ему, когда свои-то дела расталкивать не успеваешь. Тут не то что любовь, насморк боишься подхватить... «Ты ж знал, на что шел, – говорит ему Ключарев. – Ведь такая любовь всегда хлопотливая». – «Какая такая? Но-но. Ты не очень. У меня не такая любовь, как у других». – «А у других не такая, как у тебя. Верно?» И вот приятель задумался, впал в грусть, эту самую грусть уже и не пряча. Ключареву и жаль его, а что скажешь? Есть, правда, один славный совет. На все случаи жизни. «Не надо было заводить». – «Что значит заводить? Любовь – это не собака!» – «Вот именно, – говорит Ключарев. – Не собака. А на собаку, рассказывают, тоже нервы тратить приходится». – «Я думал, ты мне посочувствуешь». – «Но ты же завтра с моста прыгать не станешь?..» И разговор кончается тем, что приятель торжественно сообщает Ключареву, что он, Ключарев, равнодушный человек. И тут Ключарев решился ответить. Обычно он не отвечает на такое, ведь обратного не докажешь. Да и не мальчик он, чтобы что-то кому-то доказывать. Так что это случайно он взял и ответил:

– Я не равнодушный. Равнодушный никак не реагирует... А я смеюсь над всем этим.

То-то и оно. Поправка. Смеется он и над другими, и над самим собой – так что все чисто. Это лишь суета, суета боль-

шого города, и ничего тут иного, объясняющего. И ведь никто нас всех сюда не тащил. Сами ж выбрали. Живет он, Ключарев, в доме, в кооперативном, – хороший такой дом, благопристойный. И машин вокруг дома много стоит, собственных. И деревья сами в субботник посадили. Ну не дом, а полная чаша. И друг с другом всегда здороваются, уважают друг друга. И разговоры про микроклимат, про то, что, дескать, сами создаем себе жизнь – истинную жизнь большого города...

* * *

Было воскресенье в Старом Поселке, светлое воскресенье и не жаркое.

– Мужики!.. А мужики!

Этот крик (или зов) как бы висел в бараке. И в коридоре шаркали ноги. Отец поднялся со стула, вышел, за ним тут же шмыгнул в коридор Ключарев-мальчик.

– Что такое? – спросил отец.

– Ничто!.. В баньку надо, орский нос! – рявкнул Сашук Федотов.

Собирались. Галдели.

Появился в коридоре дядька Ваня – стало совсем шумно.

– Пиво будет? Бабы будут? – Дядька Ваня играл серыми своими глазами.

Двинулись толпой человек в двадцать. Тон задавал дядь-

ка Ваня, похохатывал. Сзади, чуть отставая, – вторая толпа! – тянулись женщины, кое у кого в узелках контрабандная стирка. В бане от грохота и гулко-го звука шлепающих шаек Ключарев обалдевал. Баня была для него мифическим существом, живым, единым. А свист пара, который рвался из чуть приоткрытого крана, намекал на сдержанную и скрытую силу... В тот день не баня была, а жара, жарница, пекло, и он потихоньку пил холодную воду из крана – отец ударил его по шее, пить было настрого запрещено, и Ключарев-мальчик, скуля, ходил по скользкому ручьистому полу и высматривал новый кран – от отца подальше. И тут случилось нечто. Дверь женской половины (через внутреннюю перегородку) вдруг распахнулась с пушечным звуком.

– А-а-а-а... А-а-а-а! – повис крик.

У Ключарева открылся рот – из дверей стремительно, одна за одной, выскакивали и мчались прямо на него женщины. Сначала бабки. Вислогрудые и бесцеремонные, они что-то вопили не своими голосами. За ними женщины средних лет. По сравнению с бешеным аллюром голых старух эти тоже напирали, но как-то бочком, с долей стеснительности. И последними – полусогнутые от стыда, смущенные, прикрываясь шаечками, теснились молодые.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.